

МАДИНА ВЕСТЧЕСТЕР

СРОДНИКИ



Мадина Вестчестер

Сродники

«Автор»

2026

Вестчестер М.

Сродники / М. Вестчестер — «Автор», 2026

Грейвуд-Холл — родовое гнездо, затерянное среди бескрайних северных болот. Веками его стены хранили нерушимый покой, оберегая суровые тайны и безупречную честь старинного рода. Жизнь Арабеллы Грейвуд была предрешена и ясна, покуда в одну грозовую ночь в тяжелые двери поместья не постучался чужак. Дамиан. Человек без имени и прошлого, явившийся из тумана, чтобы навсегда изменить ход истории. Его появление становится тем роковым рубежом, за которым привычный мир Арабеллы начинает рушиться. Это история о великом одиночестве и бунте против системы, о страсти, ставшей единственным убежищем в мире, который уже вынес свой приговор. Грейвуд-Холл потребует свою последнюю, самую горькую дань, но в его руинах уцелеет лишь то, что сильнее самой смерти.

© Вестчестер М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Появление	5
Глава 1 Чужак	5
Глава 2 Хозяйская дочь	10
Глава 3 Взгляды	17
Глава 4 Осквернение	24
ЧАСТЬ ВТОРАЯ Излом	29
Глава 5 Трещины	30
Глава 6 Свет и пепел	36
Глава 7 Уроки послушания	39
Глава 8 Тяга	46
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Мадина Федосова

Сродники

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Появление

Глава 1 Чужак

В тот год осень обрушилась на Грейвуд-Холл внезапно, точно Господь вознамерился напомнить сущим: за мимолётное, почти кощунственное тепло лета неизбежно грядёт расплата. И нет под этим небом силы, способной отсрочить сей приговор или смягчить его горечь.

Ещё вчера -если только память не мистифицирует меня, как это часто случается на закате лет, -вереск на топях стоял лиловый, отяжелевший от мерного пчелиного гуда. Этот рокот проникал в распахнутые створки окон, смешиваясь с духом свежего хлеба и тем невыразимым ароматом старого камня, что впитал в себя всё: и копоть очагов, и слезы воска, и само дыхание тех, кто обитал здесь за столетия до моего появления на свет. Но ровно в полдень роза ветров переменилась. Дыхание востока принесло холод из тех краёв, где небо всегда давит на плечи, а земля исходит глухим стоном под стопой неосторожного путника. Там птицы хранят обет молчания -их голоса тонут в сыром, грузном воздухе, не обретая эха.

Ветер принёс с собой запах разложения и ту болотную сырость, что въедается в кладку фундамента, в волокна древесины и в самую душу дома. От этого яда не исцелиться до самой весны – ни жаром каминов, ни воскурением ладана, ни теми молитвами, что я иступлённо творю каждую полночь. Хотя с каждым годом во мне всё меньше веры в то, что мой голос достигает слуха Того, кто скрыт за этим вечно серым, непроницаемым саваном небес.

Я замерла у окна в своём пристанище под самой кровлей -в тесной каморке, отведённой мне сорок три года назад, когда я переступила порог Грейвуд-Холла юной девой, алкавшей службы. С тех пор я не променяла бы эти скудные метры ни на какие парадные покои внизу. Ибо отсюда, с высоты птичьего полёта, мне ведомо всё: и извивы подъездной аллеи, где гравий уже покрылся склизким налётом осенней гнили, и суета конюшен, где старый Джон возится с упряжью, проклиная сырость, коя разъедает кожу быстрее, чем он успевает протирать её ветошью.

И тот зловещий край болот, где даже в зените лета залегает тень, подобная затаившемуся хищнику в ожидании кровавой жатвы.

Я сидела и созерцала, как туман исторгается из низин.

Этому зрелищу я вверила полвека своего земного срока -и всё не могла обрести к нему равнодушия, с каким взирают на череду рассветов. Мгла выползала медлительно, по-хозяйски, точно исполинский серый зверь, уверенный в своей добыче. Он не знал спешки, он смаковал каждое мгновение этого вязкого приближения, этой тягучей, сладкой охоты.

Сперва белесая дымка робко проступала над самой гладью, там, где Чёрный ручей, петляя меж кочек, бесследно тонет в трясине, так и не донеся свои воды до солёных объятий моря. Затем, повинуясь незримому сигналу, доступному лишь стихиям, марево начинало клубиться, пухнуть, восходить к небесам, захватывая пядь за пядью. Не проходило и часа, как весь полуденный мир за моим стеклом испарялся, растворённый в этом густом, непроницаемом молоке.

Грейвуд-Холл с его сотней слепых окон, причудливыми башенками и лесом труб, с его конюшнями и древним погостом, где в три слоя упокоены хозяева этих земель, -всё обращалось в сон. Всё становилось призрачным видением, мимолётным мороком, что грезится уста-

лему путнику, заплутавшему в этих краях. Деревья утрачивали плоть, преображаясь в стражей-призраков, застывших в вечном карауле, и лишь ветер завывал в каминных зевах, точно голодный пёс, коего позабыли накормить перед приходом вечной стужи.

В подобное ненастье чужаки обходят эти края стороной.

Тоги не жалуют пришлых -сие ведомо всякому, кто впитал дыхание этих мест с молоком матери. Болота наделены коварным терпением; они искусно заманивают в свои тенёта, неумолимо взыскивая дань, и нет смертного, способного обмануть их алчность или миновать гиблую хлябь, не уплатив сполна. Да и кто в здравом уме дерзнёт продираться сквозь трясину, когда сумерки обрушиваются на землю с быстротой захлопнувшейся крышки гроба? Когда даже цепные псы в суеверном страхе жмутся к порогу, а кони в стойлах исходят нервной дрожью, чуя незримое присутствие того, что сокрыто от ослепшего человеческого взора?

В тот вечер я уже вознамерилась предать пламя свечи забвению и отойти ко сну, когда в створку чёрного хода ударили.

То не был робкий, прерывистый призыв странника, молящего о крове, но готового смиренно отступить во тьму пред закрытой дверью. Нет. То был глухой, монументальный удар, совершённый словно бы не кистью, а всей тяжестью плоти. Костяной, глухой удар в дубовую плоть двери, от которого, казалось, содрогнулись сами стены. Мнилось, некто -если то был человек -прильнул к доскам плечом, грудью, всей своей измученной сутью. И замер в ожидании, ибо за этим порогом для него лежал либо предел долгого странствия, либо сама Смерть.

Свеча в моей руке дрогнула. Горячий воск капнул на пальцы, но я не почувствовала боли -только этот стук, только эту тишину после него, только то, как дом замер, прислушиваясь к чужому сердцу у своего порога. Я застыла, обратившись в слух, и в этой звенящей, мертвенной тишине мне почудилось, что я слышу его дыхание сквозь дубовую плоть двери -тяжёлое, хриплое, надорванное долгой дорогой.

Я спускалась по лестнице медленно, вцепившись в перила иссохшими пальцами. Колени мои внезапно обратились в прах, а сердце заколотилось у самого горла, пресекая доступ к воздуху. Я физически ощущала, как этот роковой стук резонирует в половицах, в каменной кладке, в самих нервах дома. Мнилось, старая усадьба внезапно пробудилась от векового оцепенения: второе, чуждое сердце забилося в её подвалах, принуждая Грейвуд дышать в унисон с незванным гостем.

Ричард уже стоял внизу, у подножия лестницы. Я не слышала, как он спустился – он всегда двигался бесшумно, когда хотел, -но вот он был здесь, в своём тёмно-синем халате, накинутом поверх ночной сорочки, с ещё не убранными в ленту волосами. В его руке горела свеча, и в её неровном свете лицо его казалось высеченным из старого, потрескавшегося камня -таким же серым, таким же измождённым, таким же готовым к любому приговору судьбы.

– Отворяй, Агнес, – сказал он.

Голос его был глух и ровен. Ни удивления, ни страха, ни той естественной для хозяйки опасливости, с какой следовало бы встречать ночных странников в такое ненастье. Только усталость. Только та особая, тяжёлая покорность, которая поселяется в человеке, когда он уже перестал ждать от жизни подарков и готов принимать любую её жестокость как должное.

Я коснулась засова. Не тем осенним холодом, к которому я привыкла за шестьдесят зим, проведённых в этих стенах, дохнуло на меня. Нет. Это был иной хлад -глубже, древнее, словно сама бездна разверзлась у моего порога, выпуская на волю то, что томилось в её недрах столетиями. Запах болота ударил в лицо -густой, приторный, въедливый. Он заполнил холл, подчиняя себе дух старого воска и сушёной лаванды, точно объявляя свои права на этот дом.

На пороге замер Человек.

Он был столь исполинского роста, что мне довелось запрокинуть голову, дабы поймать черты его лица. Но лик ускользал: мгла у крыльца вскипала серым маревом, стирая границы

между явью и кошмаром. Моему взору предстали лишь контуры: промокшее рубище, прилипшее к плоти столь бесстыдно плотно, что угадывался рельеф каждого мускула на этом сильном, хотя и изборозждённом лишениями теле. С его волос и из складок его грязной куртки стекала вода -чёрная, маслянистая, болотная.

Она собиралась у его ног маленькой лужицей, и мне казалось, что эта лужица растёт, расплзается по каменным плитам, как приговор, который нельзя отменить.

Спутанные пряди вороных волос ниспадали на впалые щеки, закрывая половину лица. А в глубине этого хаоса горели очи. Они были светлыми, почти прозрачными, точно стоячая вода в болоте, когда в ней отражается онемевшее, беззвёздное небо. Но небесной искры в них не водилось. Там не обреталось ничего, кроме той самой мертвенной тишины, что властвует над трясинной в безветрие. То было безмолвие более тяжкое, чем истошный крик.

Он стоял прямо. Не кланялся. Не опускал глаз. Смотрел на Ричарда с таким спокойствием, какое не пристало бродяге. В этом взгляде было что-то древнее, что-то такое, что заставило меня вспомнить слова старой миссис Грейвуд: *«Есть люди, которые приходят в этот мир не для того, чтобы жить в нём. Они приходят, чтобы разрушить его».*

Ричард шагнул вперёд. Я видела, как его рука, сжимавшая подсвечник, дрогнула – всего на миг, но я заметила. Молчание затянулось.

– С чем явился? – спросил Ричард. Голос его был тих, но в этой тишине он прозвучал оглушительно.

Человек разжал губы. Слова выходили с натугой, точно он извлекал их из вязкой глубины той самой трясины, из которой только что восстал.

– Кров, -выдохнул он. Хрипло, гортанно, почти шёпотом, в коем слышался свист ветра. – Еда. Отработаю.

Он замолчал, судорожно втягивая воздух – глубоко, с надрывом, как смертный, чьи лёгкие разучились принимать кислород. Я созерцала, как содрогаются его плечи под мокрой ветошью -мелкой, непрерывной лихорадкой, от которой, мнилось, вибрирует само пространство вокруг него. В этой дрожи не просматривалось страха. Только холод. Только та первобытная, животная жажда тепла, коя принуждает отринуть гордыню и просить о милости.

– Отработаю, -повторил он, и в голосе прорезалась отчаянная жёсткость. – Всё, что требуете. Владею навыком с лошадьми. Исправлю сбрую. Расколю дрова. Любой труд, в коем заключена сила.

Ричард созерцал его долго. Слишком долго для мимолётного мгновения. Его взор скользнул по лику пришельца, замер на прозрачных зрачках, на впалых щеках, на этой пугающей, почти кошунственной прямоте, с которой незнакомец держал свою статью. В этом взгляде хозяйина читалось не праздное любопытство. То было узнавание -или мучительная попытка узнать. Предчувствие, посещающее человека на пороге бездны.

– Какого края ты странник? – спросил Ричард.

Человек не нашёл глаголов. Лишь кивнул в сторону окна, за коим неистовствовало белесое марево. Жест сей был красноречивее всякой исповеди. Болото. Он явился из недр болот. В такую полночь. Сквозь хлябь, коя не ведаёт милосердия и не возвращает живых.

– Каким образом ты миновал путь? – голос Ричарда упал до шепота.

– Шёл, -отозвался тот. – Там, где иные находят смерть, я находил твердь. Там, где гаснет всякий взор, я прозревал свет. Быть может, топи вели меня под уздцы. Быть может, я сам вёл себя на этот заклан. Не ведаю. Я просто шёл.

– Долгим ли был твой переход?

– Двое суток. Или трое. Хронология утратила для меня смысл.

– Обладаешь ли ты именем?

Человек помолчал. Его кадык дёрнулся, на шее напряглись жилы -он боролся с чем-то внутри себя. Когда он заговорил, голос стал еще хриплее.

– Дамиан, – сорвалось с его губ.

Он замер. Без фамилии. Без рода. Имя -короткое и пустое, как выстрел в темноте. Как камень, брошенный в колодец, от которого не дожидаться всплеска.

Ричард не шевелился. Свеча в его руке оплывала, горячий воск стекал на пальцы, но он не замечал ожога. Он взирал на пришельца, и в его глазах застыло нечто тяжёлое, древнее. То принадлежало не ему одному, а всем Грейвудам -и мёртвым, и тем, кто ещё не рождён.

– Агнес, -произнёс он наконец, не оборачиваясь. -Возьми хлеба. Отведи его в конюшню. Там переночует. Завтра испытаем его умение.

Слова возражения замерли у меня на губах. Я хотела напомнить, что старый Джон не потерпит чужака, что у нас нет лишнего рублища, что человек замёрзнет на сеновале в такой холод. Хотела сказать, что мы впускаем в дом каторжника или убийцу. Но я взглянула в его очи -светлые, прозрачные, стоячие -и онемела.

– Ступай, – бросил Ричард. В этом слове было столько всепоглощающей покорности судьбе, что спорить стало бессмысленно.

Я проследовала на кухню. Завернула в чистую ветошь краюху вчерашнего хлеба, ещё хранившего тепло печи. Наполнила глиняную миску густой похлёбкой. Собрала корзину, добавив старое шерстяное одеяло -то, что берегла на случай лютой зимы, когда в юном неразумии мнила, будто способна обогреть всё мироздание одним состраданием.

Когда я вернулась в холл, он всё ещё замер на пороге. Ричард исчез -я не слышала его шагов на лестнице. Мы остались вдвоём: я и этот человек, которого Грейвуд-Холл принял в свою тень.

– Идём, – сказала я. Голос прозвучал глухо, точно из-под толщи воды.

Он шагнул через порог.

В Грейвуд-Холле сделалось темнее. Пламя свечи в моей руке поникло, съёжилась, припав к фитилю, как существо, почуявшее хищника. Тени в углах налились осязаемой тяжестью. Воздух стал другим -гуще, тяжелее. Стены, видевшие поколения Грейвудов, признали силу, перед которой они бессильны.

Я повела его через холл, мимо лестницы, мимо портретов предков. Они провожали нас тяжёлыми, осуждающими взглядами. Он шёл следом. Я слышала каждый шаг -тяжёлый, неровный. Слышала хриплое, надорванное дыхание. Чувствовала запах, который он принёс: дёготь, сырой торф, болотную тину и что-то древнее, первобытное, от чего темнело в глазах.

У чёрного хода я остановилась. Впервые посмотрела ему в лицо при свете свечи.

Он был молод. Двадцать пять лет, не более. Но взгляд принадлежал старику – человеку, который потерял слишком много, чтобы остаться юным. Лицо измождёно, щеки впали, под глазами залегли тёмные борозды. Губы потрескались, в уголках запеклась кровь. Но глаза... они смотрели с тем спокойствием, которое бывает у тех, кто перестал бояться, потому что самое страшное уже случилось.

– Ты правда пришёл из болот? В такую ночь?

– Правда. -Голос был надтреснутым, лишённым лжи.

– Как ты выжил?

Он усмехнулся -одними уголками губ, беззвучно и страшно.

– Болото не тронуло меня, -сказал он. – Может, потому что я уже был мёртв, когда вошёл в него. Может, узнало во мне своего.

– Своего? – Голос мой дрогнул.

– Того, кто родился в тумане, – ответил он. – Того, кто дышит этим воздухом с первого вздоха. Того, чья кровь...

Он замолчал, словно наткнулся на невидимую преграду. Словно проговорился о тайне, которую должен был хранить вечно.

Я шагнула в марево. Он пошёл следом. Мы пересекли двор – мимо колодца, мимо поленницы, мимо старой яблони, не принесшей в этом году ни единого плода. Гравий под ногами хрустел так громко, что звук должен был разбудить Грейвуд. Но дом молчал. Лишь ветер выл в дымоходах, да на болотах кричала птица – или тот, кто уже прошёл этот путь и знает, чем он кончится. Мертвые не говорят с живыми.

У конюшни я остановилась. Толкнула тяжёлую дверь -она отворилась с протяжным скрипом, точно старый зверь в своём логове.

– Здесь, -я зажгла фонарь у входа. – Сено в углу. Одеяло я принесла.

Лошади заволновались: старый гнедой всхрапнул, забил копытом, вороная прижала уши. Он протянул руку к ближнему стойлу -медленно, спокойно. Кобыла, готовая брыкаться, вдруг замерла. Она потянулась мордой к его ладони -доверчиво, покорно.

– Она чувствует, -сказала я тихо. – Что в тебе есть что-то... не совсем человеческое.

Он ничего не ответил. Только взял из моих рук корзину.

Я вышла, заперев за собой тяжелую дверь.

Я обрела убежище в своей каморке, но покой не шёл ко мне. Свеча догорала, изливая последние слезы воска на мои пальцы; я созерцала, как багровая плоть немеет под этим горячим гнётом, но боль казалась чем-то далёким, не принадлежащим мне. Взор мой был прикован к безмолвному контуру конюшни, где ныне затаился человек, исторгнутый туманом. Там не теплилось ни искры. Лишь сгустившаяся тьма и то глухое, настороженное молчание, от коего содрогается самая суть камня.

Сон настиг меня, точно обвал в горах. И в его недрах мне вновь явилось марево – исполинское, белесое, наделённое собственной, хищной волей. Оно не просто плыло от болот -оно извергалось, захлёстывая Грейвуд-Холл, просачиваясь сквозь немые пазы окон и слепые трещины дверей, точно живая ртуть. Хладные волны заполняли покои, восходили по лестницам призрачными ступенями, поглощая привычный мир. Я стояла в самом сердце этой колышущейся мглы, и туман мнился не ледяным, а кощунственно, пугающе тёплым -точно дыхание зверя, замершего у моего затылка.

От него веяло не гнилью трясины, а чем-то иным -тем первобытным, забытым зовом, от коего кровь в жилах начинает течь медленнее и тяжелее. Я застыла в ожидании, и безмолвие тумана было моим единственным соучастником в этом затянувшемся таинстве.

А внизу, в скорбной тишине сеновала, Дамиан не ведал сна. Он взибал в абсолютную пустоту ночи, и на губах его блуждала улыбка – едва уловимая, страшная в своей осознанности. Он знал: свершилось. Жребий брошен на заклан. И ныне ничто – ни небесный судия, ни бранный человеческий закон – не пресечёт ход фатума, что начал свой отсчёт под сводами Грейвуда.

Глава 2 Хозяйская дочь

В то утро, когда Дамиан впервые узрел Арабеллу, марево над Грейвуд-Холлом застыло столь плотным саваном, что невозможно было различить собственных ладоней, простёртых пред собой. Я замерла у кухонного окна; мнилось, мироздание испустило дух, и за этой беле-сой стеной более не обреталось ничего – ни конюшен, ни топей, ни дальней веси, где по вос-кресеньям уныло звонит колокол. Само небо вот уже третью седмицу скрывалось от нас за непроницаемой, свинцовой пеленой, и даже самые отчаянные птицы перестали подавать голос, словно понимали: в этом белом молчании любой звук будет кощунством.

Я несла поднос с завтраком в её покои, как делала это каждое утро вот уже девятнадцать лет – с той самой ночи, когда Арабелла ворвалась в этот мир под завывание шторма, огласив-шего окрестности таким рёвом, словно сам Господь гневался на Грейвуд-Холл за некие прегре-шения, сокрытые от нашего разума. Поднос в моих руках был привычно тяжёл: фарфоро-вая чаша с блюдцем, на котором была выписана тонкая синяя ветка чертополоха – фамильный узор Грейвудов; заварочный чайник под вязаной грелкой, молочник в форме крошечного кув-шинчика и мёд из нашей пасеки – тёмный, густой, пахнущий вереском и той особенной, болот-ной сладостью, которую не спутать ни с чем. Масло этой осенью сбивалось плохо, потому что коровы были беспокойны и молоко у них было горьковатым на вкус.

Всё это я расставляла каждое утро в одном и том же порядке, и этот порядок был для меня такой же незыблемой частью бытия, как смена дня и ночи или как тот факт, что болота за окном всегда будут дышать своим тяжёлым, влажным дыханием. Я знала каждую трещинку на фарфоре, каждый скол на блюдце, каждое пятнышко на серебряной ложке. Я знала, что Арабелла сначала отхлебнёт глоток чая, поморщится, если он слишком горяч, потом положит в него две ложки сахара и добавит мёда – всегда мёда, – и только после этого возьмётся за хлеб. Я знала, что она никогда не съедает больше половины, что вторую половину я потом найду на тарелке, надкушенной с одного края и аккуратно положенной обратно, словно она хотела обмануть меня, заставить поверить, что ела с аппетитом. Я знала всё это, как знают своё ремесло или как знают дорогу домой в самую тёмную ночь.

В коридоре властвовал извечный дух воска и ветхого дерева. Половицы стонали под моими стопами с тем привычным, умиротворяющим ритмом – звуком, коего я постигла до последней ноты, точно голос матери или шелест дождя за окном в невозвратные дни детства. Я шествовала медленно, дабы не пролить ни капли из фарфоровой чаши, и помыслы мои невольно сплетались в знакомую вязь: о том, что ныне, равно как и в миновавшие дни, и как пребудет в грядущем, Арабелла затворилась в своих покоях с фолиантом, и бытие для неё струится безмятежно, точно хрустальная влага в старом, ухоженном пруду, где нет места ни бурям, ни течениям, ни той коварной бездне, что таится в недрах наших топей.

Я размышляла о том, что в скором времени, вероятно, прибудет мистер Хоторн с очеред-ным подношением из роз своей оранжереи и своими праздными, благопристойными речами о погоде; о том, как благостно, что марево наконец рассеивается – хотя оно никогда не рассеива-ется окончательно, и все мы причастны к сей истине, но никто не дерзает облечь её в глаголы. Я помышляла о том, что грядущая зима обещает быть долгой и суровой, и что востребуется извлечь из недр сундуков тяжкие шерстяные покровы, кои мы бережём на случай, когда стужа делается столь исступлённой, что даже в самых согретых чертогах дыхание обращается в беле-тые облака пара. И что надлежит удостовериться, не покусилась ли моль на те меха, коих ныне никто не носит, но которые всё ещё безмолвно почивают в гардеробной, точно напоминание о тех временах, когда Грейвуд-Холл полнился гостями и ликованием, а не этой тягучей, липкой тишиной, что оседает на плечи обременительным, влажным саваном.

Я предавалась сим размышлениям лишь для того, дабы не помышлять о ином: о том, как минувшей ночью некто потряс нашу дверь монументальным ударом, и Ричард впустил сего странника с той непостижимой, пугающей покорностью, словно ожидал этого зова всё своё земное поприще.

Я гнала от себя память о том, как в это утро, минуя конюшню, я лицезрела старого Джона, застывшего у входа – он взирал внутрь с выражением, коего я не в силах была дешифровать: то не был ни страх, ни гнев, но нечто запредельное, принудившее меня ускорить шаг и не оборачиваться.

Дверь в покои Арабеллы оказалась приоткрыта – и сие обстоятельство уже мнилось мне предзнаменованием беды. Арабелла неизменно запиралась на засов, когда созерцала свои книги, не допуская ни малейшего вторжения в своё затворничество. Она твердила, что книга – это целое мироздание, и вступать в него надлежит с тем же благоговением, с коим входят в храм – без суеты и с сердечным трепетом. *«Ты ведь не вознамеришься прерывать пастыря на середине его проповеди, Агнес?»* – вопрошала она, и я не находила слов для ответа, ибо в церковь она шествовала редко, а читала ежечасно, и для неё, мнилось, сии занятия были облачены в единую святость.

Я толкнула створку плечом, вошла и замерла на пороге, чувствуя, как нечто в привычной картине этого утра сдвинулось. То было неуловимое ощущение – так случается, когдаходишь в чертог, где кто-то только что проливал слезы: воздух преобразается, становится тяжким, насыщенным чем-то, чего в нём не обреталось мгновение назад. В покоях Арабеллы воздух был именно таким – густым, напряжённым, словно она не просто созерцала фолиант, а вела невидимый, роковой диалог с тем, кто был сокрыт от моего взора.

В комнате властвовал тот особенный, тягучий полумрак, коий Арабелла столь ценила. Тяжёлые портьеры из тёмно-зелёного бархата, расшитого серебряной нитью, были задвинуты почти до половины, пропуская лишь узкую полосу серого, больного света, что падал на старый дубовый стол, загромождённый книгами. В этом приглушённом, молочном сиянии всё мнилось зыбким, нереальным – точно комната обернулась подводным гротом, а Арабелла – её единственной затворницей, заточённой здесь по собственной воле. Стены, оклеенные бледными обоями с серебристым узором, выглядели влажными, как кладка старого колодца, и даже пламя в камине, кое я разожгла ещё на рассвете, не могло изгнать сию сырость – огонь лишь метался в топке, отбрасывая на стены исполинские, дрожащие тени. Они делали комнату ещё более схожей с подводным царством, где царят свои законы и своё, особенное время.

На столике у кресла, укрытом салфеткой, которую Арабелла сама вышивала прошлой весной – тонкие стебли полевых цветов, ещё неловкие, но уже обещающие талант, – покоилась чаша с чаем. Я заметила её мгновенно, ибо самолично заваривала сей настой и ведала, каков он в цвете, когда горяч – тёмно-янтарный, почти коричневый, с тонкой светлой пеной – и каким он преобразается в тёмную, горькую жижу, кою пристало вылить разве что в свинарник или на грядки для отпугивания слизней. Ныне он был именно таков: тёмный, маслянистый, с плёнкой на поверхности, что лопалась мелкими пузырьками при малейшем колебании воздуха.

Арабелла покоилась в глубоком кресле у окна, поджав под себя ноги и укрыв колени пледом, коий я собственноручно связала для неё три зимы назад, когда стужа была особенно лютой. Плед был серым, с узором из мелких кос, кои я вывязывала долгими вечерами у кухонного очага, внимая вою ветра в трубе, оплакивающему нечто, недоступное моему разумению. Я создавала его, дабы она не ведала озноба, дабы в мире обреталось нечто тёплое и мягкое, способное согреть её, когда меня более не будет рядом. Я часто размышляла о сём: о том, что однажды я отоюду в вечность, а сей покров останется, и она будет кутаться в него, воскрешая меня в памяти. Я не ведала тогда, что детей у неё не пребудет – или пребудут, но не такие, как я мнила в своём уповании, – и что плед сей обратится в пепел вместе с домом, или истлеет в болотной жиже, как истлевают все тщетные вещи, кои мы оставляем после себя.

В дланях она сжимала книгу – «Сад утраченных теней», роман, присланный миссис Блэквуд из Мортон с запиской, перевязанной шёлковой лентой. Я помнила, как Арабелла тогда поморщилась, точно ей предложили несвежие яства, и отринула книгу на столик у двери, где та почивала три дня под слоем пыли. Я тогда помыслила: *«И благостно, нечего отравлять разум глупостями, покуда есть Писание и труды философов»*. Но после, очевидно, любопытство возобладало.

Вот уже третью седмицу она не расставалась с сим романом, и я не ведала, радоваться тому или скорбеть. Ум её был живым, острым, требовавшим пищи, как огонь требует дров. Но я помнила сказания о рыцарях Круглого стола и истории о святых, кои она читала в отрочестве – там мир был ясен, любовь вознаграждалась, а страдание было облачено в смысл. В романах же миссис Блэквуд всё было иначе: там люди изнывали без причины, алкали любви тех, кто был им чужд, и угасали в финале, не оставив после себя ничего, кроме слез.

Ныне Арабелла предавалась чтению с какой-то особенной, почти болезненной сосредоточенностью. Персты её, тонкие и прозрачные, как у всех Грейвудов, сжимали корешок столь неистово, что побелели костяшки; мне мнилось, сожми она их ещё крепче – и переломит книгу пополам, точно сухую ветвь. Она склонилась над страницей так низко, что иссиня-чёрные пряди волос пали на щёки, сокрыв лик, и я зрела лишь её чело – белое, гладкое, лишённое морщин, коих в девятнадцать лет и не обретается. И всё же мне чудилось, что на этом лбу уже проступает некая тень – та самая горькая борозда, что прорезала лицо её матери в последние дни её земного срока.

На столике, подле остывшего настоя, покоилась тарелка с надкушенным хлебом – я не обманулась, она не съела и половины, – и вазочка с мёдом, коего она и не коснулась. Свечи в серебряном подсвечнике угасали, воск стекал по их бокам неровными каплями, застывшими, точно слёзы. В воздухе властвовал дух старых книг – тот особенный, сладостно-горький аромат пожелтевших страниц и кожаных переплётов, что неизменно сопутствовал Арабелле. К нему примешивался запах сушёных роз, почивавших в хрустале на туалетном столике. То были останки букета, принесённого мистером Хоторном минувшей весной; Арабелла, к моему изумлению, не отринула их, а высушила, сохранив в своём затворничестве. Я не ведала, что сие знаменовало: быть может, пустоту, а быть может – то, что в её отчуждённости таилось место для некой странной, непостижимой мне нежности.

– Дитя моё, – произнесла я, водружая поднос на комод и приближаясь к ней. Голос мой звучал ровно, хотя внутри всё сжалось от неясного, свинцового предчувствия. – Ты вновь не причастилась чая. Он остыл час назад, а может, и более. Я сотворю свежий, едва спущусь в поварню. И хлеб твой не тронут. Тебе надлежит вкушать пищу, Арабелла. Ты и так худа, точно тростинка, а осенью востребуются силы. Ты ведь ведаешь, зимы в наших пределах долгие. Коли не наберёшься крепости ныне, к весне станешь изнывать в лихорадке, как в тот год, когда тебе минуло десять, и я три ночи не отходила от твоего изголовья, отирая тебя влажной ветошью и творя молитвы, кои, верно, не достигали небес, ибо были слишком немощны и полны испуга.

Ответа не последовало. Арабелла даже не вознесла чела – лишь персты судорожно дрогнули на странице. Я заметила, как взор замер на единой строчке. Очи, прежде столь стремительно и алчно бегавшие по бумаге, впивавшиеся в каждое слово с хищной страстью – ныне пребывали недвижны. Мнилось, воспитанница не созерцала текст, а вглядывалась в самую глубь, тщаь различить сокрытое меж строк. Нечто, оставленное автором недосказанным, или, быть может, начертанное не им, а кем-то иным – невидимым и всезнающим.

В комнате сделалось так тихо, что слышно было, как оплывает воск в подсвечнике – с едва уловимым шипением. Тишина эта была недоброй. Она не сулила покоя, а выжидала, точно зверь перед прыжком. В этом безмолвии, разлившемся по покоям Грейвуд-Холла, я физически ощутила: Арабелла замерла, обратившись в единый слух.

Её суть более не принадлежала этой комнате, креслу или роману. Госпожа пребывала там, за окном, во власти марева, коий упорно не желал рассеиваться.

– Арабелла, – позвала я громче, касаясь её плеча. Рука моя предательски дрожала. Воспитанница заметила это мгновенно – она всегда подмечала малейший сбой в моем дыхании, даже если хранила маску безразличия. – Что с тобой, дитя? Ты бледнее обычного. Уж не дурно ли тебе? Быть может, вернулись те приступы боли, что терзали тебя в минувшем году, когда лекарь из Мортонна пенял на застойный воздух и твоё нежелание покидать сии стены?

Она вздрогнула, точно путник, внезапно возвращённый из запредельных странствий. Вскинула голову, и я узрела её лик – отмеченный той прозрачной белизной, коя была родовым клеймом Грейвудов. На скулах горел лихорадочный румянец, не предвещавший блага. Очи – огромные, бездонные, уходящие в самую толщу земли, где почивают древние корни и дышит первобытная тьма, – были распахнуты широко. В их глубине застыло выражение, коего я не могла дешифровать. Не страх и не радость. Нечто иное, от чего у меня похолодело в груди. *«Господи, -промелькнуло в помыслах, – неужели она зрит то же, что видела её мать в предсмертные часы? Неужели тлен, сжёгший родительницу изнутри, передался и дочери?»*

– Агнес, -произнесла она, и голос её был глух, точно доносился из-под толщи воды, из того самого колодца, в коий я страшилась заглядывать. – Ты не слышала?

– Что я должна была услышать? – спросила я, хотя в тот же миг истина открылась мне.

Слух мой, за сорок лет привыкший различать каждый вздох дома, уже уловил то, что прервало её чтение. То, что обратило тишину в ожидание.

За окном раздался звук.

Звук был резким, металлическим, пронзительным – из тех, что принуждают зажать уши, хотя в них нет прямой угрозы. То был скрежет точильного камня о сталь. Кто-то во дворе правил косу или нож, сдирая ржавчину и грязь, накопленные неделями безделья. Грубый, чужеродный шум не имел ничего общего с привычным утренним гулом Грейвуд-Холла: мерным стуком дровосека, к которому дом привык, как старик к утренней ломоте в суставах, или скрипом колодезного журавля, убаюкивающим, точно колыбельная. Этот звук был иным. Слишком настойчивым, слишком... живым. Он ворвался в симфонию Грейвуда фальшивым аккордом, предвещая, что скоро вся музыка пойдёт прахом.

Арабелла уже была на ногах. Я не заметила, как она отронила плед и пересекла чертог. Она двигалась с той порывистой лёгкостью, что всегда устрашала меня -точно не шла, а скользила над половицами, сотканная из того же марева, что клубилось за окнами. Она замерла у проема, рывком отдернув тяжелую портьеру. Свет, хлынувший в комнату, был столь неожиданным после полумрака, что я невольно зажмурилась. А когда разомкнула веки -увидела её спину: прямую, напряжённую, какой она не бывала даже в часы скорби по матери.

Хозяйка стояла, вцепившись перстами в дубовую раму, и взирала вниз, туда, где в тумане совершался труд. Я видела её профиль – бледный, заострённый, с тёмной прядью, павшей на щеку. Губы были плотно сжаты, а в глазах полыхало нечто, чему я не находила имени. Не любопытство и не страх. **Жадность.** Та самая хищная жадность, с какой она поглощала свои фолианты, желая вобрать в себя все смыслы и тайны разом.

– Агнес, -произнесла она, не оборачиваясь. Голос её был тихим, почти шепотом, но от этого шепота у меня замерло сердце. – Кто это? – спросила она.

– Новый конюх, -отозвалась я, тщась придать голосу будничность, точно появление сего странника из ночного марева было делом обыденным. – Мистер Грейвуд доставил его вчера. Из Мортонна, должно быть, или из иных пределов. Положил ему в подмогу старому Джону – конюшню запущены, а у Джона ныне и руки не те, и взор затуманился. Хозяин рассудил, что помощник востребуется.

– Конюх, -повторила она, и в слове этом просквозило некое иное, чуждое звучание, точно она пробовала его на вкус, примеряла к себе, силясь постичь сокрытый в нем смысл. – Он... трудился у нас прежде?

– Нет, -отрезала я. – Явила его полночь. Мистер Грейвуд определил ему ложе в конюшне, покуда тот не докажет свою годность. Старый Джон, разумеется, ворчит – он неизменно ропщет, стоит миропорядку пошатнуться. Ты ведь ведаешь его нрав. Он негодовал, когда я переместила утварь на кухне, и когда отец твой велел подстричь липы, и когда прибыли кони из Лондона. Поворчит и смирится. Все смиряются.

Арабелла хранила обет молчания. Она взирала вниз, и я заметила, как персты её, покоившиеся на подоконнике, бьёт мелкая, едва различимая дрожь – ту мог уловить лишь мой взор, кой годами изучал каждый её жест и каждый вздох. Я приблизилась, застыла подле неё и тоже обратила взор к окну.

Он был там. Внизу, во дворе, кой туман нехотя освобождал из своих объятий, оставляя на камнях мокрые, мерцающие разводы, подобные следу исполинской, утомлённой улитки. Он замер у коновязи, на извечном месте старого Джона, и в движениях его сквозило нечто, принудившее меня оцепенеть. Он трудился безмолвно, сосредоточенно, с той пугающей, хищной плавностью, коя не вязалась с его измождённым ликом и тем рубищем, что всё ещё цеплялось за его плоть. Грязь, мнилось, въелась в его кожу столь глубоко, что её не под силу было избыть и ледяной водой из бады. Он не суетился, подобно Джону, кой вечно кряхтел и ронял инструмент, проклиная немощь. Только делал дело. И делал его так, точно руки его обладали собственной памятью, не нуждаясь в подсказках ни от разума, ни от глаз.

– О н не похож на конюха, -произнесла Арабелла. В голосе её просквозило нечто, чего я не чаяла услышать. Не пренебрежение и не удивление – иное. То, чему она сама, вероятно, не дерзала дать имя.

– Все конюхи походят на конюхов, – отрезала я, хотя сознавала лживость своих слов. Джон походил на конюха, ибо само естество его, руки и походка, вопияли о призвании. Этот же странник... он мнился тем, кто прежде был облечён иной сущью, а ныне, утратив всё, лишь лицедействует в роли слуги. Но я не могла исповедаться в сём Арабелле. Не могла изречь, что он исторгнут болотами, что от него веет дёгтем и сырым торфом, а в очах его застыло нечто, принуждающее креститься и отводить взор. Не могла сказать, что Ричард взирал на него так, точно воскрешал в памяти забытое, но не избытое до конца.

– Вчера бушевал шторм, – Арабелла не вопрошала, она утверждала, точно поверяя истину, коей уже была причастна. – В такое ненастье из Мортонa не ездят. Тракты размыты, марево таково, что в трех шагах сокрыт мир. Кто дерзнёт наниматься в конюхи в подобную полночь?

– Быть может, он прибыл ранее, – слова застревали в моем горле, делаясь тяжкими и неповоротливыми, как камни. – Быть может, выжидал в веси, покуда стихия не утихнет. А может, мистер Грейвуд доставил его из самого Лондона. Ты ведь ведаешь: в столице алчущие крова не смотрят на небо. Когда голод терзает чрево, ты идешь в любую погоду.

Она обратилась ко мне, и я узрела её лик совсем близко – бледный, натянутый, с тем лихорадочным румянцем, кой не желал угасать. В её очах – огромных, бездонных – застыло то, чего я прежде не лицезрела. Не страх и не любопытство. **Ожидание.** Такое же, с каким Ричард взирал на порог, прежде чем отринуть засов. Такое же, какое, верно, блуждало во взоре её матери, когда за час до родов она созерцала мглу за окном. Помню, я спросила её тогда: *«Что ты видишь, госпожа?»*. А она отозвалась: *«Смерть. И жизнь. И нечто иное. Нечто, чему нет названия»*.

– Агнес, -произнесла она, и голос её был тихим, почти шёпотом, но в этом шёпоте слышалось нечто, от чего у меня сжалось сердце. – Ты веришь в то, что люди приходят в нашу

юдоль не случайно? Что есть некто, направляющий их стопы? Что каждый стук в дверь – не просто звук, а знамение?

– Я верю, что Господь ведёт нас, – отозвалась я, чувствуя, как сухость во рту мешает глаголать, как слова делаются чужими. – *Верю, что у всего обретается причина и свой срок. Время рождаться и время отходить в вечность. Время насаждать и время искоренять посаженное. Время молчать и время подавать голос.*

– А время любить? – спросила она, и в вопросе сем было нечто, от чего у меня перехватило дыхание. – *Время любить и время исполняться ненависти. Время брани и время миру. Всему свой час, Агнес. Всему свой час.*

Она вновь обратилась к окну. Внизу, во дворе, Дамиан завершил труд и ныне вскидывал на плечо тяжкое седло, кое старый Джон неизменно таскал с натугой, проклиная Грейвудов и их исполинских коней. Он совершил сие единым движением – легко, свободно, точно седло весило не более пуховой подушки. Я заметила, как напряглись мышцы на его спине под мокрой ветошью рубахи, как они перекатились под кожей, точно живые узлы, как расправились плечи, когда он выпрямился во весь свой пугающий рост. Я заметила, как персты Арабеллы, лежавшие на подоконнике, сжались столь яростно, что побелели костяшки. Я заметила, как она пресекла своё дыхание.

– Иди, Агнес, – бросила она, не оборачиваясь. – Я снизойду позже. Мне надлежит... мне надлежит завершить главу.

Я сомкнула книгу и долгие минуты пребывала в оцепенении, взирая сквозь стекло на марево, что упорно не желало рассеиваться.

«Время любить», – пульсировало в моем сознании. – «Время любить».

И я взывала к небесам лишь об одном – дабы эта страсть не обернулась для всех нас временем **умирать**.

Я приняла поднос с остывшим настоем. Замерла на мгновение, созерцая её спину – прямую, напряжённую, ставшую мне внезапно чужой. Алкала изречь нечто веское, нечто, способное преградить ей путь, защитить, уберечь от грядущего. Но глаголы не шли. Лишь единственное речение, древнее, как само мироздание, всплыло в чертогах памяти – слова Писания, некогда мнившиеся мне лишь поэтическим маревом. Ныне же они жгли уста, точно раскалённое железо.

– *Время любить*, – прошептала я, покидая покои. – *Время любить и время умирать.*

Она не отозвалась. Быть может, не вняла. Быть может, вняла, но предпочла обет молчания. А быть может, знала сокровенное, недоступное мне: что час исхода уже настал, что он замер на пороге и ждал соизволения войти, подобно тому страннику минувшей ночью.

Я снизошла вниз. Оставила поднос на кухонном столе. Опустилась на скамью у очага, взирая на пламя, кое уже угасало, обращаясь в сонм багровых, пульсирующих углей. Я созерцала их тление и помышляла о том, что в чертогах наверху Арабелла сомкнула светский роман, оторвала его и возложила длани на иное – тяжкое, в тёмном кожаном переплёте, с медными застёжками, кои лязгнули, точно засовы темницы. Она раскрыла фолиант на той самой странице, где начертано о сроках. Она вбирала текст, и уста её беззвучно шевелились, вторя словам, кои я ведала наизусть, но коих никогда не постигала до последнего предела.

Всему свой час, и время всякой вещи под небом: время рождаться и время умирать; время насаждать и время искоренять посаженное; время убивать и время врачевать; время разрушать и время строить; время плакать и время смеяться; время сетовать и время ликовать; время разбрасывать камни и время собирать камни; время обнимать и время уклоняться от объятий; время искать и время терять; время сберегать и время расточать; время раздирать и время шивать; время молчать и время глаголать; время любить и время ненавидеть; время брани и время миру.

Арабелла сомкнула фолиант, опустила его на колени и замерла, вперив взор в окно. Марево за стеклом не рассеивалось; оно стояло плотной белой стеной, скрывая мир, но воспитанница ведала – **он** там. Он совершал свой труд во дворе. Он явился. И ныне ничто не подлежало изменению.

Я же сидела в поварне, созерцая угасающее пламя, и помышляла о том, что некогда, в невозвратную пору, я тоже была юна. Я тоже томилась ожиданием чего-то, что должно было перевернуть мироздание. Я ждала, но сие не свершилось. Или свершилось, но миновало меня. Или же я не дешифровала знамение, ибо оно не походило на книжные сказания. Ныне я застыла здесь, старая, изнурённая, с дланями, кои помнят изгиб каждой ложки и скол каждой чаши в этом доме. Я осознавала: время, ворвавшееся ныне под наши своды, было не моим. Оно принадлежало ей. Арабелле. И я была лишена власти остановить его бег.

Глава 3 Взгляды

В тот день, когда Дамиан впервые воззрел на Арабеллу так, как не подобает слуге взирать на госпожу, я замерла у кухонного окна. Я ощущала физически: время ломается. Не замирает – ломается, точно сухая ветвь, кою перегибают чрез колено; я слышала сей костяной треск, предвещающий, что былое не возвратится. Минуты тянулись, точно густая патока в урожайные годы – они цеплялись друг за друга, спотыкались, падали, и в каждом их движении сквозило нечто предсмертное. То было спокойствие затравленного зайца, коий уже не ищет спасения, ибо осознал неизбежность финала.

Арабелла оторвала книгу. Тяжёлый удар фолианта о подушки, обитые выцветшим штофом, долетел до кухни коротким выстрелом. То был первый удар молота, возводящего эшафот. Я вцепилась в подоконник столь яростно, что побелели костяшки, и ждала. Я ведала: это свершится. Знала с той секунды, когда Дамиан осквернил порог своим присутствием, когда Ричард признал в нём Рок, когда туман сделался столь плотным, что мы начали в нем тонуть – медленно и неотвратно.

Шаги на лестнице – быстрые, сбивчивые, почти бегущие – прорезали тишину залов. Арабелла никогда не ведала спешки; она неизменно плыла над половицами, как все Грейвуды, кои веками учились не тревожить прах предков. Ныне же она бежала. Я дешифровала звук её стоп – босых, я поняла это по мягкому, влажному шлепку голой пятки о старый дуб. Она летела через ступени, пропуская каждую вторую, точно дитя на зов запретного. Я выглянула в коридор и узрела её спину – прямую, натянутую струной. Светлое утреннее платье было наброшено впопыхах, верхние пуговицы остались небрежно распахнуты. Волосы, кои она всегда умирляла в тугой узел, ныне рассыпались по плечам чёрным, хищным водопадом, и она не помышляла закалывать их.

Я порывалась окликнуть её. Хрипело в горле: *«Дитя моё, отринь безумие, ты забыла шаль, хлад проберёт тебя до костей»*. Алкала крикнуть: *«Платье не застёгнуто, срам перед челядью, что изрекёт миссис Блэквуд, узрев воспитанницу неприбранной?»*. Или самое страшное: *«Не дыши одним воздухом с тем, кто исторгнут болотами, ибо болото взыскивает дань и не отпускает своих...»*. Но глаголы застревали в гортани, обращаясь в тот самый удушливый ком, что перехватывает дыхание всякий раз, когда мироздание рушится, а ты бессильна.

Я лишь созерцала, как она выбегает на крыльцо, как низвергается по ступеням. Её стопы в домашних туфлях – атласных, небесно-голубых, за кои я торговалась с купцом на ярмарке в Мортоне, вырывая каждый пенни, – ступали в жирную, маслянистую чернь двора. Ткань намокала, темнела, впитывая грязь, коя въедается в волокна навечно. Никакая чистка, никакой едкий щёлок, коим я годами выводила пятна с её одежд, не вернёт атласу былую, девственную белизну.

Она не заметила. Или же оторвала знамение. Она шествовала к конюшне, и я провожала взором её следы – глубокие, неровные отметины промокшей обуви, утратившей форму. Я осознала: это и есть то самое *«время умирать»*, о коем вещает Писание. Прежде оно мнилось мне столь же далёким, как холодные светила на небосводе или книжная любовь, коей не обрести в подлунном мире. Ныне же я понимала: вчера я отворила дверь не просто страннику – я впустила Беду. Но беда таилась не в нем. Она дремала в самих стенах Грейвуда столетиями, а теперь пробудилась, расправила плечи, задышала в унисон с прищельцем. И я была лишена власти убаюкать этого зверя вновь.

Я видела, как она достигла порога конюшни. Как замерла в оцепенении, точно почуяв невидимую преграду. Она застыла в двух шагах от открытого зева двери. Свет, исходящий изнутри, падал на её лик – бледный, напряжённый, отмеченный тем лихорадочным румянцем,

кой не в силах были погасить ни утренняя сырость, ни ледяное дыхание осени. Внутри неё бушевал иной пожар.

Она замерла, и длани её – тонкие, прозрачные, с длинными перстами, кои столь грациозно перелистывали страницы фолиантов, что я подчас забывала об их принадлежности живому существу, мня их изваянием из холодного мрамора в нише заброшенного храма, – ныне безвольно пали вдоль стана. Я созерцала, как они содрогаются; как пальцы судорожно сжимаются и вновь размыкаются, точно она жаждет ухватиться за невидимую нить, но та ускользает от неё в мареве.

Она вошла. Я не уловила миг, когда она преступила порог – в ту секунду ветер яростно дёрнул ставню, и я отвлеклась. Но когда мой взор вновь обратился к окну, Арабелла исчезла. Остался лишь открытый зев конюшни и темнота внутри.

Конюшня Грейвуд-Холла была древним, угрюмым строением из тёсаного камня, воздвигнутым ещё первым лордом, кой дерзнул бросить вызов трясине. Он возвёл стены там, где земля зыбка, а воздух слишком грузен для дыхания. Он победил, но болото хранило память о поражении, и память сия въелась в камень, в древесину, в самую почву под фундаментом. Внутри неизменно царил дух сена, конской плоти и старой кожи; тот особенный, терпкий аромат дерева, десятилетиями впитывавшего пот животных и сумеречное безмолвие, коим полнится пространство, когда люди уходят, оставляя тварей наедине с их бессловесным знанием.

Арабелла шагнула в сей полумрак и замерла, давая взору привыкнуть к теням. Она лгала бы себе, утверждая, что явилась проверить старую вороную кобылу, коя в отрочестве доверчиво тыкалась тёплым носом в её плечо.

Она лгала бы, помышляя, будто желает удостовериться в сохранности сбруи или в прилежании нового конюха, дабы тот не нарушил вековой порядок Грейвуда. Но она не искала самообмана. Она ведала, зачем явилась.

Он замер в глубине конюшни, подле стойла старого гнедого – строптивого зверя, кой в извечном беспокойстве не давался в руки никому, кроме Джона, да и тому с превеликим трудом. Ныне же конь пребывал в кротости, склонив голову на плечо Дамиана; тот оглаживал морду животного – медлительно, ровно, с той пугающей нежностью, коя столь кощунственно не вязалась с его десницами, иссечёнными шрамами и огрубевшими от мозолей. Он не внял её появлению. Или внял, но не удостоил разворота. Он продолжал свой труд, и в сём созерцании было нечто, принудившее Арабеллу застыть.

Она взирала на его спину – широкую, натянутую, облечённую в мокрую ветошь рубахи, коя прильнула к плоти столь бесстыдно, что угадывался рельеф каждого мускула, каждый порыв дыхания. Рукава были засучены выше локтя, обнажая предплечья – жилистые, сильные, отмеченные бледными шрамами, кои мерцали даже в полумраке. На коже жемчужили капли пота, и в их блеске таилось нечто, от чего дыхание её пресеклось. Она вбирала сей аромат – дёготь, конский пот, прелая шерсть – нечто резкое, первобытное, чему не обреталось места в её чертогах. Тот дух был груб, он въедался в лёгкие, принуждая её ощущать собственную плоть – свою чистую, омовенную, надушенную лавандой плоть – иначе, чем когда-либо прежде.

Она не находила сил ни воззвать к нему, ни отринуть сие видение. Она была заворожена – не им, нет, она не желала знать его, не смела алкать близости – но той силой, коя в нем пульсировала. Первобытной, дикой мощью, коей не владел ни один мужчина в её окружении.

Уильям Хоторн мнил на его фоне лишь вежливой тенью: он подносил розы, глаголал о погоде, улыбался по велению приличий и умолкал, когда того требовал обычай. В нём был порядок, но не было жизни. В дланях Хоторна не обреталось сей мощи, в его очах не таилось подобной бездны, в его плоти не пульсировала та пугающая, первобытная жизнь, коя ныне предстала пред нею в образе человека в запятнанном рубище. Он сжимал скребницу – столь древнюю, что рукоять её была отполирована до зеркального блеска сотнями ладоней, кои вла-

дели ею задолго до него. В этом блеске отражалась не роскошь, а вековой, честный труд, от коего Грейвуд-Холл всегда отворачивал свой бледный лик.

Дамиан обернулся. Не потому, что уловил слухом её присутствие – она замерла тише мыши в подполье, – а почуяв её всем существом. Он обернулся, и Арабелла узрела его лик: измождённый, отмеченный глубокими тенями и впалыми щеками; губы были сжаты столь плотно, точно он отродясь не ведал улыбки. Но очи... они были распахнуты, и в их недрах таилось нечто, принудившее её пресечь дыхание.

Они мнились светлыми, почти прозрачными, точно стоячая вода в торфянике, в коей отразилось онемевшее небо. Но в них более не обреталось той мертвенной пустоты, о коей я помышляла при его появлении. Там властвовало иное. Нечто, заставившее её отступить на шаг вопреки воле. Нечто, приковавшее её к стопам, хотя всё её естество вопило о бегстве.

Он не склонил главы. Не отринул взора. Не проронил ни звука. Он созерцал её, и в этом взгляде не просматривалось ни почтения, ни рабского подобострастия, ни той вежливой маски, кою челядь водружает на лица при встрече с господами. Он взирал на неё как равный на равную.

– Кто вы? – спросила она, и голос её прозвучал глухо, точно она не узнавала собственную речь.

Она алкала вскричать: *«Как вы дерзаете взирать на меня столь кощунственно?»*. Она жаждала изречь: *«Вам надлежит пасть ниц, уйти, истлеть, никогда не осквернять сей двор своим присутствием»*, – но уста не повиновались. Она созерцала его, и в груди сделалось столь тесно, что, мнилось, сердце вырвется из теней плоти, падёт на сию грязную солому, и все узрят, какое оно – малое, испуганное, бьющееся в предсмертной судороге.

– Дамиан, – произнёс он. Одно слово. Без рода, без звания, без того, что могло бы утвердить его место в подлунном мире, его право пребывать здесь, в её конюшне, взирать на неё столь кощунственно.

– Вам надлежало склониться, – выдохнула она, и в голосе просквозило нечто, родственное мольбе. Не приказ – мольба. Ибо если он совершит поклон, мироздание вернётся на круги своя. Если он отринет взор, она обретёт силу уйти, затвориться в своих чертогах, коснуться страниц фолианта и предать забвению само его существование.

Если он исполнит ритуал, указующий на его рабство, она убедит себя, что не стояла здесь, не вбирала запах его плоти, не тонула в его прозрачных очах.

– Я не обучен поклонам, – отозвался он, и в тоне не было вызова. Лишь истина. – Я приучен к труду. К молчанию. К свершению того, что востребуется. Но кланяться... – он умолк, и Арабелла узрела, как его уста дрогнули в гримасе, похожей на затаённую боль или на воспоминание, коего не избыть. – Сей навык я утратил. Или не ведал вовсе. Не знаю.

Она созерцала его, и в груди сделалось столь пусто, что, мнилось, разомкни она губы – и оттуда вырвется лишь ветер, воющий в дымоходах бессонными ночами. Она алкала изречь нечто суровое, воздвигнуть преграду, коя напомнила бы ему о пропасти между госпожой и слугой, вернула бы их в мир незыблемых правил и границ. Но глаголы не шли на ум. Она лишь стояла, пригвожденная его взором, и чувствовала, как её плоть начинает пульсировать собственной, дикой жизнью, не внемля приказам рассудка.

Он совершил шаг к ней. Единый шаг. Не более. Но сего движения было достаточно, дабы она осознала: межа, кою она тщила воздвигнуть, более не существует. Он замер столь близко, что Арабелла ощущала его дыхание на своём лице – тёплое, ровное, исполненное тем духом дёгтя и сырой земли, что въедался в лёгкие, кружил голову и принуждал её чувствовать, точно она стоит не на тверди, а на зыбкой, алчной трясине, уходящей из-под стоп.

– Вам не надлежало являться, – произнёс он. Не спросил. Изрёк как факт – истину, коей он владел с той самой секунды, когда преступил порог Грейвуда.

– Я -хозяйка сего дома, отозвалась она, и голос её прозвучал немощно, неуверенно, точно у дитяти, кое повторяет зазубренный урок, не помышляя о его смысле. -Я вольна шествовать, куда мне востребуется.

– Вы явились не по праву хозяйки, – отрезал он. – Вы явились, ибо я здесь. Вы пришли воззреть на меня. Как взирают на... – он умолк, дешифруя верное слово, и она заметила, как кадык его дёрнулся при глотке, – на то, чего страшатся. Или на то, чего алчут, но не дерзают наречь именем.

– Я ничего не алчу, – солгала она. Она сознавала ложь, и он ведал о ней, и оба они были причастны к сей немой, страшной правде, от коей у неё помутилось в глазах, а колени сделались ватными. Арабелла ощутила: она падёт сейчас прямо здесь, на сию грязную солому, и он подхватит её, и сие станет финалом всего, что она ведала о себе прежде.

– Не лгите, -в голосе его не было жестокости. Лишь та нагая правда, коя не нуждается в защите. – Я обучен отличать кривду от истины. Я слишком долго пребывал в краях, где ложь умерщвляет стремительнее голода. Я лицезрел тех, кто лгал самому себе – они угасали первыми. Не от руки убийцы, нет. Оттого, что переставали быть собой. А человек, отринувший собственную суть, мёртв, даже если сердце его всё ещё бьёт набат.

Арабелла созерцала его, и в недрах её груди воцарилась такая пустота, что, мнилось, она слышит эхо собственных помыслов – они метались, точно запертые птицы, не обретая исхода. Она алкала изречь, что он лишён права на подобное кошунство, что он – лишь слуга, чьё поприще ограничено конюшней, грязью и запахом дёгтя, коему не подобает смешиваться с её ароматами, её фолиантами, её бытием. Но она онемела. Ибо под его взором всё, что она ведала о себе, о незыблемости своего чина, о праве на стерильный порядок – всё обратилось в прах, в пустые глаголы, за коими не стояло ничего, кроме страха. Страх пред тем, что она ощущала в сию секунду; пред тем, что томилось в ней извечно, но никогда не было облечено в имя.

– Что вы здесь вершите? – спросила она, и сей вопрос не касался его ремесла или внезапного появления в Грейвуде в этот туманный час. Он был о ином. О том, что он вершит ныне в её жизни, в её помыслах, в той тишине, коя прежде служила ей убежищем, а ныне обратилась в гул.

– Тржусь, -отозвался он. – Свршаю то, к чему приучен. То, что вменено мне в долг. Вы алкали поклона -я не обучен. Вы желали моего исхода – я удалюсь по первому велению. Но вы не прикажете. – Он изрёк сие без вызова, без кичливости, а просто как факт, неоспоримый, точно грядущий рассвет над этой конюшней, где он станет чистить сбрую и ловить в окнах Грейвуда её тень.

– Откуда в вас подобная уверенность? – голос её содрогнулся, и она возненавидела себя за сию немощь, за то, что не в силах совладать с собой

– Оттого, что вы не отринули меня, – произнёс он. – Вы явились в конюшню в туфлях, поглотивших влагу, в платье, обречённом на осквернение грязью, без покровов, невзирая на хлад. Вы явились, дабы воззреть на меня. И вы не ушли, когда я пограл обычай и не склонил головы. Не ушли, когда я уличил вас во лжи. Вы стоите пред моим взором, и я зрю ваши очи, и ведаю ваше смятение, ибо я причастен ему в той же мере. И сие ужасает вас. Ужасает и меня. Но оно – есть. И вы не властны отменить сущее. Равно как и я.

– Я не ведаю, что вы испытываете, – изрекла она, но то была ложь, и оба они были причастны к сей кривде. И в этой лжи таилось нечто, побудившее его совершить ещё шаг – столь близко, что Арабелла ощутила иссушающий жар его плоти сквозь свои одежды, сквозь тот эфемерный, мнимо безопасный слой ткани, коий отделял её от него и от всего первобытного хаоса, что он принёс в её мир.

– Вы ведаете, – отрезал он. – Ведаете, ибо взирали на меня так, как смотрят на нечто, уже принадлежащее вам, хотя разум ещё не дерзает сие признать. Вы созерцали меня так, точно я

– тот самый человек, коий уже перекроил ваше бытие, покуда вы пребывали в неведении, как и в какой час сие свершилось.

Она алкала отступить, но стопы не повиновались. Она жаждала возвестить, что он заблуждается, что он слеп в своём дерзновении, что она – Арабелла Грейвуд, наследница сего чертога, и жизнь её не подлежит искажению по воле того, кто явился из топей с дорожной сумой и вьёвшимся в поры дёгтем. Но она онемела. Ибо под его взором осознала: всё, что она мнила о себе прежде, было лишь маской, носимой столь долго, что подлинный лик стёрся из памяти. А он взирал сквозь личину, и под ней трепетало нечто, устранившее её более всяких глаголов, касаний и помыслов.

Арабелла совершила шаг назад. Не из жажды бегства, а почуяв: останься она здесь ещё на миг, на краткое мгновение – и свершит нечто, что вовек не подлежит отмене. Она прильнула спиной к дверному косяку; хлад камня обжег её сквозь тонкий шелк платья. Сей холод оставался единственной связью с реальностью, с тем миром, где она властвовала, где незыблемы были каноны и всё пребывало в благопристойном порядке.

– Вам надлежит удалиться, – выдохнула она, и голос её истаял до шёпота. – Вам не место здесь. Вы не вольны... взирать на меня столь кощунственно.

– Как? – спросил он. И в кратком этом звуке не обреталось невинности. Не было непонимания. Лишь то, что она страшилась услышать: вызов, обнажённая истина, знание, причастное обоим – сему не пребудет конца.

– Как на то, что вам не принадлежит, – выдохнула она. Сии слова мнились ей самыми кощунственными из всех, когда-либо сорвавшихся с её уст, ибо в них таилось признание. Исповедь в том, что он взирает на неё не как слуга, не как чужестранец, обязанный отринуть взор и удалиться в тень. Он созерцает её как то, чем жаждет обладать. Как то, что готов захватить. Как то, чем, быть может, уже завладел, покуда они не коснулись друг друга.

Он не нашёл глаголов для ответа. Лишь пригвоздил её взором, от коего дыхание её истаяло. Арабелла замерла, прильнув хребтом к холодному камню; она ощущала, как сердце бьёт набат в самом горле, как лихорадочная кровь приливает к ланитам, как плоть делается тяжкой, чуждой, не знающей послушания. Она алкала изречь нечто, возвращающее их в лоно привычного мира, но речь покинула её. Лишь безмолвие. Лишь сей взор. Лишь дух дёгтя, кружащий голову, и иссушающий жар, исходящий от его тела.

Дамиан простёр руку. Не из жажды коснуться её – она почуяла сие всем существом, – а дабы она узрела. Его персты – длинные, сухие, с изломанными ногтями и вьёвшейся под кожу чернью, коей не избыть вовек, – замерли столь близко, что она могла бы ощутить их текстуру, вознамерясь она совершить движение. Она не должна была алкать сего. Но рука её – тонкая, белая, девственно чистая рука, не знавшая иного труда, кроме перелистывания страниц и начертания писем, оставшихся без адресата, – вознеслась сама, вопреки воле и запрету. Она застыла в пространстве, в двух дюймах от его ладони.

– Не надо, – сорвалось с его губ. И в голосе Дамиана просквозило нежданное. Не триумф, не глумление победителя. Страх. Такой же первобытный, как и её собственный. Ужас пред тем, что свершится, едва плоть встретит плоть. Если они оба совершат сей шаг, от коего нет возврата.

Арабелла оттолкнулась от косяка. Шаг к выходу. Следующий. Оглянуться – значило погибнуть. Взор Дамиана, оставшегося в вязком полумраке конюшни, вонзался в лопатки, в плечи, в дрожащие пальцы, кои невозможно было усмирить. Грязь чавкала под стопами; хлад проникал сквозь промокший атлас тубель и тонкий шёлк прямо к сердцу, но боль сделалась немой. В существе жил лишь этот взгляд, прошивающий насквозь плоть и камень, проникающий в ту самую глубину, где нет спасения.

Побег в дом походил на спасение от погони, коя страшнее смерти. Память не сохранила ни лестницы, ни захлопнутой двери покоев – лишь падение в кресло, где всё ещё покоился

фолиант, раскрытый на страницах о сроках. Буквы расплывались, теряя очертания. В ушах гремело лишь собственное дыхание .

Арабелла смотрела на него и не постигала, как земля дерзает носить столь грубую плоть в едином пространстве с её кружевами. В его десницах пульсировала мощь, прежде казавшаяся лишь праздным книжным вымыслом. Ибо в нашем мире никто не был истинным. Никто не взирал так, точно зрил не лик, не облачение и не чин, а ту её, коей она сама прежде не ведала.

Я застыла в поварне, взирая на пепел остывшего очага; в воздухе явственно ощущалось, как время умирает. Слух мой уловил порывистый бег: Арабелла ворвалась под своды, и стопы её – мокрые, осквернённые грязью двора, в тех самых атласных туфлях, кои она никогда не надела бы, пребывая она в здравом рассудке, – чеканили ритм по ступеням. Дыхание её срывалось на беззвучный крик. Я слышала, как грохнула дверь покоев, как лязгнул засов, и воцарилась тишина.

Между ними встал не этикет, не каноны и не пропасть, разделяющая сословия. Преградой сделалась сама природа: хищник и добыча, утратившие знание о своих ролях, взирающие друг на друга с равным страхом и равной жадностью. И ни один не властен был отринуть взор, ибо первый отступивший признавал бы своё поражение.

Я поднялась, приблизилась к стеклу и обратила взор к конюшне. Дамиан замер на пороге. Он созерцал окна второго этажа – туда, где за шторами билось её сердце. Он пребывал в неподвижности, не выдавая ни помысла, ни трепета. Но я ведала истину. Я узнала этот взгляд: некогда Ричард так взирал на её мать, и та отвечала ему тем же, и оба они осознавали -прежний мир обратился в прах, уступив место иному, где нет границ, а есть лишь этот гипнотический взор.

Я сотворила крестное знамение. Прошептала слова, кои прежде знала наизусть, но кои ныне утратили благодатную силу – ибо Тот, к кому они были обращены, мнилось, окончательно отворотил лик от Грейвуд-Холла, от его стен и обитателей.

«Время любить», – пульсировало в моем сознании, точно набатный бой крови в ране, коей не суждено затянуться. – «Время любить и время умирать». И нет меж сими сроками мгновения для покаяния. Нет часа для молитвы. Нет власти воротиться вспять и вскричать: «Не алчу! Отринь! Прекрати!».

Арабелла застыла в своих покоях, судорожно сжимая фолиант, строк коего не различала; взор её был прикован к собственным рукам. Они содрогались. На бледной коже не обреталось ни царапины, ни скверны, ни малейшего следа того, что свершилось в недрах конюшни. Но они сделались иными. Длани хранили память о том, что разум тщился предать забвению: как они вознеслись сами собой, попирая волю и запрет, и замерли в двух дюймах от его плоти. Коли бы он не изрёк: *«Не надо»*, – она коснулась бы его. Она ведала сие. И он ведал. И оба они сознавали: то стало бы финалом. Или началом. Или тем, чему нет имени в языке людей, ибо в нем не обреталось глаголов для их сродства.

Она сомкнула веки. В воцарившейся тьме проступал его лик, его десницы, его очи, взиравшие столь кощунственно и глубоко. И Арабелла постигла то, от чего оборонялась всё это время: она алкала его встречи. Не ныне, не вчера и не в тот миг, когда он сотряс ударом дверь. Она искала его всё своё земное поприще – в каждой книге, в каждой строке, в каждой вымышленной саге о страсти, что превозмогает смерть. Она искала его, не ведая, за кем следует её тоска, покуда он не явился. А когда он предстал пред нею, она осознала: всё бывшее было лишь томительным ожиданием. И всё грядущее станет лишь памятью о том, что могло свершиться, не порази её испуг. Если бы он не возбранил. Если бы она совершила этот шаг.

Арабелла разомкнула веки. Взяла фолиант, коим была увлечена поутру, и обратилась к финальной странице. Героиня угасала в лесной чаще, в объятиях возлюбленного; снег падал на их лики, и они улыбались, ибо не ведали страха пред исходом – смерть мнилась ничтожной, когда обретено искомое. Она захлопнула сию безделицу, отринув на столик и извлекла с полки

иное – тяжкое, в тёмной коже, с медными застёжками, кои лязгнули, точно засовы темницы. Она раскрыла Писание на строках о сроках и прочла вслух, дабы дрожащий голос подтвердил, что она всё ещё причастна к сущим:

– *Всему свой час, и время всякой вещи под небом: время рождаться и время умирать; время насаждать и время искоренять посаженное; время убивать и время врачевать; время разрушать и время строить; время плакать и время смеяться; время сетовать и время ликовать; время разбрасывать камни и время собирать камни; время обнимать и время уклоняться от объятий; время искать и время терять; время сберегать и время расточать; время раздирать и время сшивать; время молчать и время глаголать; время любить и время ненавидеть; время брани и время миру.*

Она сомкнула книгу, возложила её на колени и долго пребывала в оцепенении, вперив взор в окно. Марево за стеклом не рассеивалось. Оно стояло плотным саваном, скрывая мир, но Арабелла ведала – **он** там. Он замер на пороге конюшни и взирает на её чертоги. И в этом взгляде было всё, чего она страшилась и чего алкала.

Глава 4 Осквернение

Я восходила по лестнице, и каждая ступень давалась с натугой. Словно я не сорок лет мерила этот путь, а впервые ступала на гладкий, предательский лёд. Вода в кувшине плескалась, стекло звякало о край стакана – в тишине дома этот звук бил по ушам. Я шествовала медленно, кусая губы, и репетировала ложь. *«Дитя моё, я принесла воды, умойся после прогулки»*. Или: *«Марево нынче густо, ты, верно, промочила стопы»*. Эти пустые слова должны были прикрыть бездну. Я боялась выдать главное: я всё видела. *«Время умирать»* уже затаилось у её порога.

У её двери стояло гнетущее безмолвие. Грозовая тишина, когда воздух наливается свинцом, а птицы каменеют в ожидании удара. Я замерла, обратившись в слух. Арабелла дышала часто и рвано – так дышит путник, едва спасшийся от погони, или тот, кто из последних сил сдерживает рыдания, страшась, что один выдох прорвёт плотину.

Я постучала. Сначала осторожно, затем настойчивее. В ответ донеслось движение: шелест ткани, стон половицы, короткий всхлип, который тут же пресекли на корню.

Наконец раздался её голос – отчуждённый и острый, как лезвие ножа.

– Войди, Агнес.

Я толкнула створку. Взгляд сразу наткнулся на платье. Оно лежало в самом центре комнаты, на светлом ковре, который я собственноручно выбивала каждой весной. Шёлк валялся смятым, брошенным – так падает тело, из которого вышел дух. Я созерцала его и не могла отвести глаз. Ткань, ещё поутру сиявшая чистотой, была осквернена маслянистой чернью. Пятна грязи на подоле казались хищными клеймами. Болотная скверна – тяжкая, липкая, смердящая тиной – въелась в волокна. Этот дух впивается в кожу и в самую память, оставаясь там вовеки.

Платье покоилось на ворсе точно **труп**. В этой комнате совершилось непоправимое. Мне чудилось, что мёртвая ткань дышит собственной зловещей жизнью. Чернота на шёлке ширилась, поглощая свет, подобно тёмной воде, что в половодье извергается из недр трясины, оставляя после себя лишь ил и молчание.

Подле платья, чуть в стороне, точно два малых и тёмных зверька, прильнувших друг к другу в смертной тоске, покоились туфли. Я выкупила их на ярмарке в Мортоне минувшей весной, истощенно торгуясь с купцом едва ли не час, ибо тот алкал за них вдвое более истинной цены. В памяти моей ещё живо теплилось, как Арабелла впервые облачила в них стопы, как шествовала по чертогу, оборотив ко мне сияющий лик; небесно-голубой атлас искрился, точно весенний небосвод, и она изрекла тогда: *«Агнес, они мнутся мне облаками, точно я ступаю по самому эфиру»*.

Ныне же они почернели. Ткань впитала влагу, потемнела и деформировалась, приняв очертания тех грязных путей, коими шествовали в них ноги. На атласе запеклась та же болотная скверна, что и на платье, но взор мой приковало иное – мелкие, тёмные волокна сена, прильнувшие к мокрому шелку, и тонкая золотистая соломинка, застрявшая в пряжке у самой подошвы. Я созерцала сию соломинку, и дыхание моё пресеклось.

Конюшня. Она пребывала в конюшне. Она затворилась там с ним, и то не был мимолётный визит или праздный вопрос о нуждах старого Джона. Она оставалась там столь долго, что болотная чернь успела въестся в атлас, а сор сеновала спутался с пряжками, точно немое свидетельство её падения.

Я вознесла очи. Арабелла замерла пред зеркалом. Она пребывала в единственной тонкой сорочке – без покровов, без обуви, босая; и её стопы, отмеченные родовой белизной Грейвудов, ныне были осквернены влажными следами на щиколотках. Волосы, прежде неизменно смиренные в тяжёлый узел, рассыпались по плечам спутанным, мрачным водопадом, и в их

недрах я заметила ту же солому – улику, кою позабыли уничтожить. Госпожа взидала в зеркало, но не на собственный лик. Она смотрела сквозь стекло, туда, где всё ещё высилась тень чужака, взиравшего на неё столь кошунственно, попирая всякое право и чин.

Я застыла на пороге, сжимая поднос, и чувствовала, как влага в кувшине плещется всё неистовее, как стакан звенит о край серебра, выдавая мой страх и то невыразимое смятение, коего мне не должно было обнаруживать. Ибо если она узрит моё содрогание, она исполнится ещё большего ужаса, а в страхе она вовеки не сможет обрести путь назад – к той пресветлой и чистой Арабелле, коя покорно дожидается в своих покоях **«правильного»** человека с его **«правильными»** розами, готового увлечь её в **«правильное»** бытие.

– Дитя моё, – произнесла я, и голос мой прозвучал глухо, чуждо, точно я не узнавала собственного речения. – Я поднесла тебе влаги. Ты, вероятно, алкаешь омовения. После прогулки неизменно востребуется свежесть. Маревое нынче столь густо, что даже камни сочатся сыростью, и воздух грузен, и мнится, скверна липнет к коже, даже если ты не покидала чертогов. Я водружу поднос здесь, на столике, а после доставлю горячего настоя с мёдом – ты ведь жалуешь мёд, – и мы пребудем в покое, и ты поведаешь, как миновал твой выход в сад, а я поделюсь кухонными заботами: у нас там мышь повадилась, я уже третью западню ставлю, а она всё не даётся, лукавая такая, хитрая, точно ведаёт о наших кознях и глумится над нами...

Я глаголала, глаголала и не могла пресечь сей поток, ибо воцарись в покое тишина –и она раздавила бы меня своей тяжестью. Я поминала мышей, погоду, сладость мёда – что угодно, лишь бы не обращать взора на это платье, на эти туфли, на её спину, коя застыла столь прямо и отчужденно, что я не признавала в ней родных черт. Я расставляла хрусталь, поправляла кружево салфетки, совершая извечные ритуалы, и тщиалась не зреть того, что покоилось на ковре. Но оно пребывало там, и я осязала сие присутствие, как чуют затаившегося в углу врага: ты ведаешь о нем, но не смотришь, ибо стоит встретиться с ним взглядом –и он сделается истинным, и его более невозможно будет претворить в небытие.

– Я упала, – произнесла Арабелла.

Она не удостоила меня разворота. Она всё так же застыла пред зеркалом, и отражение её взидало на меня из глубины стекла – бледное, с исполинскими, мрачными очами, кои смотрели не на меня, а сквозь, в ту даль, где, верно, всё ещё высилась его тень. Она стояла, и в голосе её не обреталось ничего, что могло бы выдать её смятение.

Тон был ровен, спокоен – таков он бывал, когда она рассуждала о погоде или о прочитанном фолианте. Но я дешифровала в нем иное. Нечто, чего не бывало прежде. Звнящую пустоту. Или, напротив – невыносимую полноту. Нечто, превращавшее её речь в голос той, кто более не сопричастен этому миру, этому дому и этой жизни, где всё прежде было ясно и благопристойно.

– Я упала, – повторила она. – В саду. Тропа столь склизкая после ливня, а я пренебрегла шалью и торопилась, не заметив влажного камня. Он скользкий, я оступилась и пала. Прямо в хлябь. Там, под старой яблоней. Ты ведь ведаешь, там неизменно стоит лужа, едва начнётся дождь, ибо почва просела, и вода скапливается, и никто не властен отвести её, сколько ни закладывая стоков. Я упала, осквернила платье, погубила туфли. Я жаждала подняться, но было столь скользко, что я не могла совершить ни движения...

Она глаголала, и я внимала, и в каждом её речении сквозило нечто, делавшее сию ложь стократ страшнее истины. Коли бы она исповедалась, я бы ведала, к какому святому взывать, дабы Господь отвратил её от этого человека, от губительной страсти, коию более не пресечь. Но Арабелла лгала, и в кривде сей таилось признание. Она лгала не мне – **себе**. Тщиалась убедить собственное естество, что в саду лишь оступилась, что чернота на шёлке – простая грязь, а не та маслянистая жижа, коя въедается в поры навечно. Она жаждала возврата в жизнь, где сословия и воздух разделяли их незыблемой межой. Но тщетно: сам кислород в её лёгких сделался иным.

Я созерцала её длани. Прежде они мнились мне мрамором изваяния, столь грациозно они перелистывали фолианты. Ныне же они багровели. Не от холода -от исступления, с коим она тёрла их, тёрла и тёрла, тщась избыть неистребимое. На туалетном столике покоилась мокрая щётка с тёмными ворсинками, а руки госпожи пылали пунцовым, иссечённые тонкими белыми бороздами от жёсткой щетины. Она тёрла плоть, не чуя боли, не внемля ничему, кроме запаха, коий не желал уходить.

– Дитя моё, – произнесла я, и голос мой дрогнул. Более я не в силах была лицедействовать, покорно принимая её обман. – Ты вся в скверне. И волосы, и руки... Усталость подкосила тебя. Я доставлю горячей влаги, ты совершишь омовение, сменишь облачение, и морок минет. Грязь смывается. Всё подвластно воде, коли её в избытке. А у нас её вдоволь: колодец глубок, и livни в этом году столь щедры, что вода замерла в ожидании. Омой волосы, омой руки, надень чистое платье – и всё пребудет как прежде. Как было извечно.

Она оборотилась ко мне. Я узрела её лик – бледный, отмеченный тем лихорадочным румянцем, коий не желал угасать. Очи её, огромные и мрачные, наполнились той самой пустотой, что я зрела во взоре чужака на пороге, и той самой полнотой, для коей у меня не обреталось имени. Она взирала на меня, но я постигла: она зрит не няньку. Она видит **его**. Видит его взгляд и его руки. Образ его стоял пред нею ежесекундно с той самой минуты, как она покинула недра конюшни.

– Агнес, – произнесла она.

В её голосе прорезалось нечто чуждое. Не просьба, не мольба – **требование**. Она приказывала мне ослепнуть, не сметь взирать на очевидное, притвориться, будто мироздание не рухнуло. Она алкала возврата в лоно привычного порядка, хотя обе мы сознавали тщету этих надежд.

– Агнес, возьми платье. Оно осквернено. Отнеси его в прачечную, вели выстирать в крутом кипятке, с едким щёлоком, дабы не осталось и следа. И туфли... возьми их тоже. Быть может, если тереть их до изнеможения, атлас вновь просветлеет? Помнишь, как мы вырывали их у купца в Мортоне? Он клялся, что сей шёлк доставлен из самого Лондона. Они сияли, точно облака, и я обещала беречь их свято, надевать лишь по торжествам, дабы сохранить их первозданную чистоту...

Она умолкла. Госпожа застыла в грязной сорочке, с размётанными волосами и руками, иссечёнными щёткой до крови. В ту минуту она походила на ту самую утопленницу из деревенских преданий – ту, что сгинула в трясине и ныне блуждает неприкаянной тенью. Тело её возвращено тверди, но душа навеки погребена в чёрной воде, лишённая забвения и покоя.

– Хорошо, дитя моё, – отозвалась я.

Голос мой был ровен – так я увещевала её в детстве, когда ночные страхи прерывали её сон, а я баюкала её, клянясь, что чудовища обитают лишь на страницах книг.

– Я заберу шёлк и атлас. Всё отстирается, всё отчистится. Ты лишь омой лик, смени облачение, вкуси горячего настоя. Ты согреешься, и морок пройдёт. Скверна смывается водой, ты ведь ведаешь. Любая грязь. Любая.

Я склонилась, дабы поднять шёлк, и едва персты коснулись влажной ткани – меня опалило. Не физическим жаром – нет, платье было ледяным, точно колодезная вода в зимнюю пору, – но чем-то иным, не имеющим имени, принудившим мою руку оцепенеть. Я приняла сей груз. Мокрый, скользкий шёлк смердел болотом, и когда я вознесла его, с подола сорвалось нечто -малое, золотистое. Соломинка. Она пала на светлый ворс ковра и замерла там, на самом виду, точно улыка, кою не успели истребить.

Я подобрала солому. Сухая, золотистая, она источала дух сена – не болотный, не гнетущий, а легкий и почти сладостный. Этим запахом были пропитаны и волосы госпожи, и её длани, кои она исступлённо тёрла щёткой, тщетно пытаясь изгнать аромат, въевшийся в поры. Я сжала находку в кулаке, сокрыв её, не смея взглянуть на Арабеллу – не давая ей постичь, что

тайна её раскрыта. Я подняла шёлк и атлас, и они жгли мне руки, точно клеймо, коим метят скот, дабы знать его хозяина и его путь.

– Я отнесу это в поварню, – произнесла я, и голос мой прозвучал чуждо. – Велю выстирать в крутом кипятке. С едким мылом. Всё отойдёт. Всё очистится. Ты лишь омой лик, смени облачение. Я доставлю свежего настоя. С мёдом. Ты ведь жалуешь мёд. Испробуешь его, и морок пройдет.

Я покинула покои. Затворив дверь, прильнула хребтом к холодной стене и застыла, не дыша. Платье в моих руках тяжело с каждой секундой; оно делалось неподъемным, увлекая меня в ту самую чёрную воду, из коей нет исхода.

В моем кулаке таилась соломинка – малая, золотистая, – и она жгла ладонь огнем, коего не залить и не задушить молитвой. Я разжала пальцы, взирая на неё. Она покоилась на моей старой, морщинистой коже, вмещая в себя всё: её падение, её ложь и **его** присутствие.

Я снизошла вниз. Миновала поварню, остывший очаг и стол с нетронутой чашей – утренний настой потемнел, сделавшись горькой, ненужной жижей. На дворе воздух встретил меня сыростью, духом дождя и той болотной гарью, что пропитала платье Арабеллы. Я стояла у прачечной, взирая на маслянистую чернь, покрывшую камни. Он тоже замирал здесь сегодня. Дышал этим холодом. Визирал на эти плиты и на стены дома, помышляя о своей цели и о том, что сулил ему Грейвуд.

Есть раны, кои не источают крови, но от них сама плоть начинает пахнуть иначе. В тот вечер Арабелла принесла под наши своды дух, который не выветрит и столетием покаянных молитв. В тесном сумраке прачечной я осознала этот аромат – дёготь, тина, прелое сено. Он въедался в самую кладку. Никакая влага не смоеет его, никакое время не унесёт прочь. Нам суждено отныне дышать этим ядом; он станет вечным напоминанием о содеянном.

Я оторнула платье в корзину. Следом пали туфли. И соломинка – малая, золотистая, источающая дух сеновала и той затаённой жизни, что расцвела в недрах конюшни, откуда мир вокруг Арабеллы обращался в ничто. Я склонилась над корзиной, и мне чудилось, будто я заглядываю в могилу. В склеп её чистоты, её непорочности и всей той жизни, кою я воздвигала для неё годами, оберегая как святыню. Я мнила наш уклад нерушимым, точно стены Грейвуда – те самые камни, что высились здесь веками и пребудут ещё столетия, ибо камню неведом страх пред ливнем, ветром или неумолимым бегом времени.

Я воротилась в дом. Поднялась в поварню, водрузила чайник на пламя, извлекла мёд и её излюбленную чашу – ту самую, с синей ветвью чертополоха. Мать Арабеллы столь дорожила этим узором Грейвудов, что выписывала фарфор из самого Лондона; Ричард тогда гневался, пеняя на расточительство, но она пренебрегла его ропотом – алкала, дабы у дочери осталось нечто прекрасное в наследство. Я наливала настой, мешала мёд, и десницы мои содрогались столь неистово, что серебро звенело о край фаянса. Сей звон был единственным звуком в замершем доме, коий прислушивался к пустоте, ведая: прежний покой истаял, уступив место времени без сна.

Я вознесла чашу наверх. Постучала. Вошла. Арабелла покоилась в кресле у окна – в чистом облачении, с волосами, усмирёнными в узел, с руками белыми и непорочными. Я взирала на неё, и мне чудилось, будто морок миновал: не было ни грязи на ковре, ни осквернённого шелка, лишь дева, погруженная в чтение. Но она не созерцала строк. Она застыла, вперив взор в окно, туда, где марево начало нехотя обнажать чёрные, склизкие камни конюшни. В её очах застыло нечто, чему я не дерзала дать имя, но что узнала – так некогда взирала её мать, и я, прежде слепая, ныне прозрела.

– Твой настой, дитя моё, – произнесла я, оставляя чашу. – С мёдом, как ты жалуешь. Испробуй, согрейся. Хлад нынче суров. Ты, верно, продрогла, когда оступилась. Влага в лужах ледяная, а ты пребывала без шали. Испей, и тепло воротится, и всё пройдет.

Она не удостоила меня ответом. Она созерцала даль, и я прильнула к стеклу подле неё: мы зрели единое. Конюшню – тёмную, безмолвную, и человека на её пороге. Он взирал на окна второго этажа, на её покой, на неё саму – и не шелохнулся, не скрылся в тени. Он пребывал там, и пребудет вовеки, и нет силы избыть его присутствие.

– Вода смывает всё, – повторила я, и глаголы сии предназначались уже не ей, а мне самой – дабы я не лишилась рассудка от этого духа, не покидавшего чертог, от тишины, давившей на уши, и от этого взгляда, коий я осязала даже в поварне, за запертыми дверями, в самом сокровенном углу дома. -Всё смывается водой. Всё. Любая скверна. **Любая.**

Дверь захлопнулась. Хребет плотно прижался к холодной стене; оцепенение сковало плоть – ни вдоха, ни движения. В ладонях медленно остывала чаша; настой делался тёмным, горьким, ненужным прахом. Безмолвие коридора диктовало страшную истину: вода не всесильна. Есть скверна, коя въедается в суть навечно. Есть дух, что не выветривается из чертогов. Есть мгновения, кои не минуют и не блёкнут – они пускают корни в груди, покуда само естество не обратится в грязь, в запах, в ту самую минуту, кою никто не желает помнить, но коей никому не дано забыть.

Путь вниз прошёл как в тумане. Скамья у остывшего очага приняла усталое тело. Руки, неподвижно лежащие на коленях, казались чужими – старые, морщинистые, отмеченные пятнами увядания. На коже не обреталось ни грязи, ни чуждого духа – ничего, что свидетельствовало бы о свершившемся. Но осязание не обманывало. Атлас туфель всё ещё жёг кожу, шёлк платья тяготел на руках могильной плитой, а золотистая соломинка, покоившаяся на ладони, весила более, чем все камни Грейвуд-Холла, вместе взятые.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ Излом

Глава 5 Трещины

В тот вечер Грейвуд-Холл созывал к ужину, точно к последнему причастию смертника, для коего не существует завтрашнего рассвета. Свечи в массивных серебряных шандалах вспыхнули ровно в семь – так велел устав, не знавший нарушений с тех пор, как первый из рода Грейвудов переступил сей порог. Скатерть была накрахмалена до той хрусткой, почти стеклянной жёсткости, коию я презирала всем естеством: ни одна вещь, доведённая человеком до мертвенного совершенства, не приносит благодати. Фарфор замер в идеальном строе: суповая чаша на подстановочной, ножи – лезвиями к фаянсу, вилки – зубцами к небу. Два десятилетия я совершала сей обряд с той же истовостью, с какой иерей раскладывает дары пред литургией. Но ныне мнилось, что готовлю я не стол к трапезе, а эшафот к закланию.

Ричард вошёл в столовую первым. Обычный вечерний сюртук тёмно-синего сукна, с коего я поутру счищала невидимый прах, облекал его грузную фигуру; хозяин не терпел на одежде ничего, что можно было почуять, не видя. Он занял место во главе стола, и дубовый стул привычно стонал под весом плоти, коя за последние годы сделалась суше, вопреки всем моим стараниям. Развернув салфетку, Ричард вооружился серебром и замер, вперив взор в пустоту напротив. Туда, где надлежало восседать Арабелле.

– Где она? – осведомился он, не повышая тона. В вопросе не сквозила тревога – лишь привычная жёлчь человека, не выносящего посягательств на заведённый порядок. Его персты сжимали чеканные рукояти столь неистово, точно он душил незримого супостата.

– Сейчас явится, сударь, – отозвалась я, хотя ложь жгла язык. Я не ведала, достанет ли ей сил переступить сей порог, вскинуть очи на отца и коснуться вилки, лицедействуя, будто мир её не рухнул и она всё та же дева, что поутру грезил над книгами о несбыточном.

Место моё было у буфета, в густой тени, откуда открывался обзор на всё сущее, оставаясь сокрытой от взоров. Длани покоились под фартуком; правая была сжата столь неистово, что ногти впивались в плоть, и в тисках этих таилась соломинка. Малая, сухая, золотистая – она жгла ладонь с того самого мига, как была подобрана с ковра в покоях госпожи. Рука не дерзнула отринуть её в сор. Соломинка кочевала из кармана в кулак и обратно, покуда не сделалась участницей сей священной трапезы, где всякая ложка замерла на своём месте, а всякое слово обязано было быть правдой, кою никто не дерзал изречь.

Взирая на Ричарда, я зрела в нем слепца. Не того, кто лишён очей, а того, *кто воздвиг стены гордыни столь высоко, что перестал различать бездну у собственных стоп*. Он восседал во главе стола – прямой, надменный, в безупречном сукне, с салфеткой, расправленной по всем канонам, и не ведал: дочь, коию он почитал за чистое стекло, уже дала трещину. Он не приметил, что облачение её к ужину – тёмно-зелёное, с воротом, сжимающим шею до подбородка, – прежде никогда не являлось к столу.

Арабелла числила его слишком суровым, траурным, напоминающим о тлене. Ныне же она избрала его не в припадке вкуса, а как броню, тщась сокрыть незримое: следы на коже? Нет, там не обреталось следов. Там жила память. Там застыл дух, не желавший выветриваться, сколько ни изводи воды. Там пребывал взгляд, запёкшийся на теле ожогом, коий не исцеляли лишь потому, что жаждали его вечного горения.

Поступь её на лестнице я уловила за минуту до появления. Шаги были выверены – мерные, покойные, какими надлежит шествовать хозяйке дома к отчему столу. Но слух мой различал то, к чему Ричард оставался глух: натяжение каждой жилы, с коим давался ей этот путь. Арабелла ступала не по родным, вытертым до глянца ступеням – она шла по острым камням, раздирающим стопы, но пресечь бег было волею смерти. Замереть – значило пасть, а павшему в Грейвуд-Холле более не суждено было восстать.

Дверь отворилась. Арабелла вошла.

Лик её был бледен. Не той прозрачной, почти лучистой бледностью, коя уподобляла её фарфоровому изваянию, выставленному на заклятие чужим взорам. Нет. То была смертная бледность существа, пережившего немислимое и ныне тщетно лицедействующего, будто мироздание не обратилось в руины. Она шествовала прямо, хотя слух её, верно, уже различал роковой треск стен, готовых обрушиться в любую секунду. Всё, что ей оставалось -хранить осанку и не выдать ужаса.

Она заняла своё место. Движения её были плавными, выверенными годами муштры, когда я поправляла всякий жест и позу, вбивая в неё устав: леди Грейвуд не подобает сидеть точно мужичке; от того, как персты сжимают серебро, зависит её участь в ином, высшем мире. Арабелла расправила салфетку, возложила её на лоно, вооружилась приборами – и свершила сие столь безупречно, что Ричард не приметил лихорадочной дрожи её пальцев.

Но я – я созерцала **истину**. Я видела, как побелели костяшки её рук, вцепившихся в вилку. Едва отец отвернулся к супнице, она скрыла длани под покровом скатерти, пряча их в спасительной темноте от чужих очей. Она не дерзала вскинуть взор на родителя, вперив его в фаянс и сталь ножа. Ибо стоило их глазам встретиться – и Ричард прозрел бы. Он узрел бы всё: и пунцовую кожу, истёртую щёткой до крови, и дух болот, коим пропитался шёлк её платья. Он прозрел бы – и тогда Грейвуд-Холл рухнул бы окончательно. Порядок, почитаемый незыблемым, и правда, в коей он черпал силы, обратились бы в прах, погребая нас под обломками, коих не собрать вовек.

– Ты сегодня бледна, – обронил Ричард.

Голос его пророкотал в безмолвии столовой ударом молота. Хозяин не удостоил её взглядом, созерцая суп в фарфоре с родовым гербом, но я ведала: он чует неладное, хоть и не властен дать тому имя.

– Здорова ли ты?

– Да, отец, – отозвалась она.

Тон её был безупречен – ровен и покойен, точно она рассуждала о прочитанном фолианте.

– Весь день я провела в прогулках. Марево нынче столь густо, а я пренебрегла шалью. Верно, лёгкая простуда сковала меня.

Она лгала. Я взидала на её длани, сокрытые под скатертью, и видела их содрогание. Лицо Арабеллы пылало тем странным, лихорадочным румянцем, коий не желал угасать; она задыхалась. Не от хлада – от корсета, коий сегодня затянула туже обычного, до хруста в ребрах. Прежде она носила его свободно, не вынося стеснения, утверждая, что в тесноте не рождаются думы. Ныне же она сдавила грудь так, точно желала вовсе не дышать. Дабы не впускать в лёгкие тот дух, что всё ещё преследовал её, -запах сена и дёгтя, въевшийся в самую память. Дабы не сметь вспоминать.

– Гуляла? – Ричард вскинул очи.

В его интонации прорезалось нечто смутное. Не подозрение – нет, он веровал в незыблемый порядок Грейвуд-Холла так, как верят в восход светила. То было беспокойство, коему он сам не обрёл бы объяснения.

– В такое марево? Ты ведь ведаешь: в туман выходить не должно. Тропы склизкие, камни сочатся сыростью -падение неизбежно. Ты более не дитя, Арабелла. Тебе надлежит разуметь это.

– Я упала, – произнесла она.

В голосе её прорезалась неведомая прежде острота, мимолётный вызов, коий она тут же подавила. Здесь, пред лицом отца, право на бунт было ей заказано.

– Ноги скользнули на тропе у старой яблони. Почва там просела, влага скапливается в лужах, и никто не властен отвести её стоками. Платье осквернено, туфли погублены. Агнес уже отнесла их в прачечную. Всё отстирается. Всё очистится.

Она вторила моим речениям. Моим немощным, пустым посулам о том, что вода все- сильна, а грязь преходяща. Я замерла, и соломинка в деснице впивалась в плоть столь яростно, что я почуяла солёный вкус крови на ладони. Я сжимала сию малую, золотистую улику, ведая: никакая стихия не смоет свершившегося. Никакая щеть не вытравит того, что впиталось в её суть. Пусть она выбелит шёлк, пусть затянет корсет до хруста в костях, пусть взирает на родителя очами, лишёнными трепета -забвение ей не даровано. Я знала это, ибо зрела её лик в зеркале, не узнававший своего отражения.

– Яблоня, – отозвался Ричард.

В тоне его проступила тяжёлая задумчивость, точно он коснулся того, что тщился позабыть.

– Твоя мать тоже жаловала это древо. Утверждала, под ним благодатно мыслям. Я не постигал, о чем грезить под кривым стволом в сырости, но она часами пребывала там. С фолиантом в руках. Или вовсе без ноши. Сидела и созерцала хлябь. Я вопрошал: *«Что ты там прозреваешь?»*. Она же безмолвствовала. Лишь улыбалась. Столь странно, будто ведала истину, сокрытую от меня. Будто зрела то, к чему я был слеп.

Он умолк. Я взирала на него, и впервые за долгие годы передо мною предстал не столп порядка и не хозяин Грейвуд-Холла. Я узрела человека, познавшего любовь. Того, кто в юности своей мнил, будто сущее можно удержать, коли сжать кулаки крепче. Он не разумел: есть вещи, кои ускользают сами. Или их похищают. Или они тонут в трясине, покуда ты стоишь на берегу, созерцая всплывающие пузыри, и сознаешь -возврата нет.

– Ты -её подобие, – прошептал Ричард, и голос его истаял до шелеста. – Когда замираешь у окна, устремив взор в хлябь. Тот же изгиб уст. Те же очи. Созерцая тебя, я зрю её тень и мучаюсь вопросом: что она там прозревала? Чего я был не в силах постичь? Быть может, ныне ты даруешь мне ответ?

Арабелла хранила безмолвие. Я взирала на её длани, укрытые покровом скатерти, и видела их содрогание. В столовой господствовал тяжкий зной от камина и густой дух воска, но хлад бил её изнутри. Она трепетала от этого сродства. От того, что отец вскрыл их общую суть. Ибо кровь её была кровью матери, и душа – её душой; и та, верно, так же часами пыталась взором болото, ожидая пришествия того, кто явится из тумана и заберёт её в недра трясины.

– Мне неведомо, отец, – отозвалась она глухо, точно глаголала не с ним, а с незримым гостем, затаившимся за её спиной, в той самой тени, где пребывала я. – Быть может, в топях сокрыто нечто, чему нет места под сводами сего дома. Нечто, не описанное в фолиантах и не подвластное речениям. Быть может, она алкала того, чего стены Грейвуда не могли ей даровать.

Она умолкла. Ричард созерцал её долго, невыносимо долго, и я видела, как лик его камееет, возвращая привычную маску хозяина – человека, для коего слабость суть трещина, а трещина -предвестие финала. Он вооружился серебром, отсек кусок плоти и принялся жевать. Скрежет его челюстей, размалывающих снедь, сделался единственным звуком в чертоге, и мне почудилось, что я слышу обрушение стен. Не каменных -тех, что воздвигались им десятилетиями из запретов и незбылемых истин. Каждый удар его зубов был ударом молота по сему оплоту; я различала, как осыпается штукатурка и расширяются щели, в кои уже вползает болотная чернь – маслянистая, смердящая тиною и безымянным грехом.

– Ты нынче в смятении, – проронил Ричард, покончив со снедью.

Он не удостоил её взором, созерцая лишь тарелку и багровую влагу, проступившую на фаянсе, но я ведала: он осязает её натянутость и лихорадочный трепет.

– Поведай, не гнетёт ли тебя нечто?

– Нет, отец, – отозвалась она, и голос её обрёл ту костяную твёрдость, что служит щитом для обречённых. – Ничего не свершилось. Усталость марева довлеет надо мной. Тебе ведь ведомо сие.

Арабелла вооружилась вилкой. Отрезала кусок хлеба. Я наблюдала, как она жуёт, и видела: хлеб для неё обратился в пепел. В нем не обреталось ни вкуса, ни смысла, ни единой частицы того живого жара, что пронзил её поутру в недрах конюшни. Каждый глоток давался ей с натугой, точно она поглощала камни, падающие в бездонный колодец. Соломинка в моей деснице вонзалась в ладонь всё глубже; я чувствовала, как кровь мелкими каплями орошает фартук, оставляя влажные клейма, но не смела разжать кулак. Малая, золотистая улика была единственной твердью в этом призрачном мире лжи.

– Добро, – выдохнул Ричард с бесконечным изнурением человека, переставшего ждать чудес. – Завтра прибудет Уильям Хоторн. Он алчет глаголать о делах. И о тебе. В прошлый визит он изнывал от разлуки. Уверял, что готов на всякое долготерпение, ибо ты – венец его чаяний.

Арабелла оцепенела. Я видела, как побелели её персты, стиснувшие серебро. Веки её дрогнули, скрыв очи; она уставилась в тарелку, на нетронутую плоть и хлеб, ставший прахом. Она безмолвствовала. Она не властна была изречь ни слова. Ибо разомкни она уста – и столовой коснулся бы вопль. Или рыдания. Или та страшная правда, коей заказан путь к сим свечам и сему отцу. Родителю, зревшему в ней лишь наследницу и длань, коя обязана продолжить род: выйти замуж, дать жизнь преемникам и застыть в гостинной, созерцая, как жизнь утекает прочь, точно туман над топиями, оставляя по себе лишь хлад и сырость.

– Уильям – достойный человек, – произнёс Ричард.

В тоне его прорезалась тяжкая, вымученная убеждённость, точно он тщился уверить в этом не дочь, а собственную душу.

– Почтенный род. Состояние. Он окружит тебя заботой, коей я не в силах даровать. Кров. Преемники. Будущее. Тебе надлежит поразмыслить о сем, Арабелла. Негоже вечно коснеть в покое над фолиантами. Жизнь скоротечна. Она не ведает пауз.

Он умолк. В столовой воцарилось безмолвие, нарушаемое лишь мерным, кладбищенским тиканьем часов в холле – точно молот вбивал гвозди в крышку гроба. Я созерцала госпожу: она застыла, натянутая струной, сокрыв длани под скатертью. Лик её, лишенный красок, вопиял о боли. Она не вкушала снеди, не пригубила настоя. Взор её, прикованный к гербовому фаянсу, был слеп ко всему земному. Она зрела **его**. Зрела рельеф его рук, полумрак конюшни, вдыхала дух сена и дёгтя и слышала то самое **«не надо»**, коим он пресёк её порыв. Вся эта сцена стояла пред ней, и я читала её в этой ледяной неподвижности, коя была стократ страшнее всякого крика.

– Я поразмыслю, отец, – отозвалась она.

Голос её был пуст, как колодец, из коего вычерпали всю влагу, оставив лишь тьму и гулкое эхо.

– Я помыслю об Уильяме. О том добре, коего ты жаждешь для всех нас. Поразмыслю.

Арабелла поднялась. Накрахмаленная салфетка соскользнула на паркет – белым пятном, точно клочок снега, обречённый на таяние и сырость. Она не удостоила её движением. Поступь её к выходу была безупречна – мерна и спокойна, но я улавливала в ней прежнее натяжение жил.

– Арабелла, – позвал Ричард, когда рука её уже коснулась дубовой ручки.

Шёпот его в мёртвой тишине прогрехотал обвалом.

– Твоя мать уходила точно так же. Всякий раз, когда я глагоlal ей о благе. Она вставала и скрывалась за дверью, а я взирал на её спину и терзался: *в чем моя вина? Отчего она не обрела блаженства в доме, воздвигнутом мною для неё?* Я так и не снискал ответа. Быть может, ты откроешь мне сию тайну?

Она не оборотилась. Лишь на мгновение плечи её дрогнули, точно от удара хлыстом, и дверь за ней затворилась, отсекая прошлое от грядущего.

Арабелла оцепенела. Я взидала на её спину – прямую, скованную тёмно-зелёным сукном платья, коим она тщалась сокрыть неисцелимое. Заминка затянулась столь надолго, что мнилось – она не проронит ни звука. Шагнёт за порог, затворит засов своих покоев и пребудет там, во тьме, пытаясь разглядеть в окне далёкий свет конюшни –единственную правду, оставшуюся ей в этом доме лжи.

– Мне неведомо, отец, – отозвалась она, не оборачиваясь. – Быть может, она алкала того, чего здесь не обрести. А быть может – обрела. Или лишь мнила, что коснулась искомого. Я не ведаю её чувств. Не знаю, что прозревала она в бездне болот. Вероятно, ей открывалось то, к чему мы глухи. Вероятно, она дожидалась того, кто явится... или того, кто уже пребывает подле. Я ничего не ведаю.

Дверь отворилась, впустив в столовую мрак коридора. Щелчок замка прогрохотал в тишине выстрелом. Ричард застыл, вперив взор в её опустевшее место. Он созерцал белую салфетку, павшую на паркет, нетронутую снедь и остывший настой. Лик его был ликом человека, постигшего невозвратимую утрату, но не способного ни назвать её, ни удержать.

– Агнес, – позвал он, не удостоив меня взглядом.

Голос его был глух, точно он взывал к призраку.

– Ты пребывала подле неё ныне. Что с ней свершилось? Она стала иной. Я не властен постичь суть сей перемены, но я чую её. Глаголай мне правду. Ты неизменно зорче прочих. Скажи, что с моей дочерью?

Я замерла в тени у буфета. Соломинка впивалась в мою ладонь столь глубоко, что плоть, верно, уже была рассечена. Я смотрела на Ричарда – на человека, который уже лишился всего, но ещё не осознал масштаба разорения. Что мне было ответить? Открыть ли истину? Сказать ли, что она была в конюшне и мир её рассыпался в прах под взором чужака? Что пала она не на садовой тропе, а в него -в бездну его глаз?

– Ничего, сударь, – отозвалась я, и ложь сия тяготела на душе пуще истины. Ибо обман – тот же камень, коий ты добровольно возлагаешь на собственное сердце; он пребывает там ежесекундно, и нет силы сбросить сей гнёт.

– Усталость сморила её. Марево неизменно утомляет госпожу. Вы ведь ведаете. Она воспрянет. Всё пребудет по-прежнему. Всё вернётся на круги своя.

Он склонил голову. Подобрал салфетку, вооружился серебром и вновь принялся за трапезу. Я созерцала его и прозревала: плоть для него утратила вкус, обратившись в пепел. Всё, что вершил ныне Ричард Грейвуд, было лишь ритуалом, коим он отчаянно подпирал рушащийся мир. Его долей было хранить стены, покуда те не изошли трещинами, покуда хлябь не захлестнула порог, покуда дочь, коию он почитал за чистое стекло, не разлетелась вдребезги под весом правды, кою он не властен был пресечь.

Я покинула столовую. Снизойшла в поварню, опустилась на скамью у остывшего очага и разжала кулак. Ладонь была осквернена кровью – тёмной, густой, уже тронутой тленом засыхания; в недрах её покоилась соломинка.

Сидя в полумраке кухни, я постигла: ныне я предала не господина и не себя. Я предала ту истину, что была ведома мне изначально: сей дом издревле воздвигнут на болоте, и болото терпеливо ждало своего часа. Оно пришло, и никакие заслоны не удержат стихию, когда пробил её срок.

Я поднялась и прильнула к окну. В конюшне теплился свет. Он пребывал там. Бодрствовал ли, трудился ли, или взидал на окна второго этажа, на её покой, на неё саму -мне было неведомо. Я лишь созерцала сие пламя и знала: оно не угаснет. Оно будет пылать в ночи – завтра, и послезавтра, и вовеки, покуда высятся эти стены, покуда стоит сей мир, покуда все мы не канем в ту самую чёрную воду, что дожидалась нас от начала времён.

Я отстранилась от окна. Взошла по лестнице к её покоям. За дубовой плотью двери царило безмолвие. Прильнув ухом к холодному дереву, я постигла: Арабелла не предавалась слезам. Она не спала. Она застыла в тени, пытаясь разглядеть в тумане тот единственный свет, что теплился в конюшне.

Мы потчуем смерть настоем из тонкого фарфора, уповая на её милость к нашему изысканному вкусу. Но смерть не ведает почтения. Она лишь выжидает. И когда пробил её час, она не стучится в ворота — она уже внутри. Она восседает за нашим столом, пьёт из наших чаш, взирает на нас нашими же очами; мы же именуем это «жизнью», ибо не ведаем иного наречения для своей гибели.

Глава 6 Свет и пепел

Марево подступило к самым стенам Грейвуд-Холла ещё затемно. Едва я разомкнула ставни, мир за стеклом истаял – осталась лишь молочная кисея, сквозь кою едва угадывались очертания конюшен: смутный излом крыши да мутное пятно света в окне, где **он**, должно быть, уже заступил на службу. Сей человек, мнилось, вовсе не ведал сна. Или почивал иначе, нежели мы.

Дом пробудился больным. После вчерашнего ужина, после той натянутой, звенящей тишины, что пролегла меж Арабеллой и Ричардом, Грейвуд затаил дыхание. Слуги шествовали на цыпочках, изъяснялись шёпотом. Старый Джон, сказывают, истово перекрестился, когда Дамиан предстал на рассвете, и отступил в тень, пропуская его к колодцу – не из почтения, но из суеверного страха, с коим деревенский люд обходит непостижимое.

Я восходила по лестнице с подносом. Чайник, фарфор, сахарница, крохотный кувшин сливок и сдобная булочка в сахарной пудре – всё, как жалуется Арабелла. Но ныне сие «**извечно**» было кривдой. Такой же ложью, как вчерашние глаголы об «**оступившейся в саду**», о грязи, коя смывается, и о мире, коий восстановится. Скверна не сошла.

Она не смыкала глаз. Застыла у окна в той самой сорочке, в коей я оставила её в сумерках; волосы рассыпаны, длани покоятся на коленях, точно пред исповедью. Взор устремлён в туман, туда, где тлел огонёк конюшни, где пребывал **он**. Ни движенья при моем входе, ни единого звука. Лишь профиль – бледный, заострившийся, отмеченный тем лихорадочным румянцем, коий не желал угасать, точно внутри неё полыхало пламя.

Ныне мы и станем душить его. Всеми средствами, кои нам подвластны: костяным корсетом, пудрой, пристойными глаголами и той правильной улыбкой, что сулила ей жизнь за порогом Грейвуда в лице Уильяма Хоторна. Он уже, верно, покинул Сендфорд-Мэнор; подковы его скакунов рокочут по мокрому тракту, а карета, вычищенная до зеркального блеска, отражает серое недужное небо. Он везёт ей розы. Неизменно везёт розы.

– Нынче прибудет Уильям, – произнесла я, водружая поднос на мрамор столешницы. Голос мой прозвучал глухо, чуждо, точно я возвещала не о визите жениха, а о часе казни. – Пора готовиться. Я поднесла настой. Испей, согрейся, после совершишь омовение и облачишься. Он явится к полудню. Или ранее. Ты ведь ведаешь Уильяма – он неизменно поспешает прежде, нежели его востребуют.

Она медленно оборотила лик. Бледность её была болезненной, отмеченной тем неугасимым румянцем и губами, кои она терзала вчера в недрах конюшни; на нижней запеклась тонкая тёмная нить крови. Очи – исполинские, бездонные провалы. В них застыло то самое выражение, что я зрела десятилетия назад, когда её мать замирала у сего же окна, вперив взор в те же топи, в ожидании того, кто явился из тумана и увлёк её за собой.

– Агнес, -изрекла она ровно, так говорят лишь тогда, когда жребий брошен и спорить более не о чем. – Помоги мне в облачении. Корсет. Я желаю, дабы он был затянут туго. Предельно туго.

Я склонила голову. Из недр гардероба извлекла платье -цвета старой хвои, с зарытым воротом; в нем она вчера предстала пред отцом, тщась сокрыть непоправимое. Нынче оно послужит ей снова. И костяные пластины, и перчатки до локтя. Быть может, если замуровать плоть в шёлк, затянуть шнуровку до хруста и утаить каждый дюйм кожи, то существо, что пробудилось внутри, задохнётся и сгинет?

Арабелла поднялась. Она прошествовала к секретеру -потемневшему от времени, на резных ножках, затаившемся в углу. Я отворяла его лишь для удаления пыли, ибо там госпожа хранила свои свитки думы Она коснулась его ныне. Неспешно, точно совершала сей ритуал

ежедневно, хотя я ведала – она годами не притрагивалась к этим бумагам. С прошлым она, по примеру родителя, предпочитала не соприкасаться.

– Что ты алкаешь обрести, дитя? – спросила я, и голос мой дрогнул от подступившего страха. Я не ведала тайн сего бюро, но знала: когда-то, в иные времена, её мать так же склонялась над ним, что-то вверяла его недрам и что-то унесла с собой в могилу, не проронив ни слова.

– Не ведаю, – донеслось в ответ. Речь её звучала отрешённо, точно она глаголала не со мной, а с кем-то, застывшим за её плечом. – Нечто важное. Я осязаю... оно здесь.

Лист покинул тайник. Пожелтевший, ломкий, с неровными краями – его сворачивали жадно, вчетверо, и ещё раз, и ещё.

– Что там, дитя? – спросила я, и голос мой прозвучал тише шороха этой бумаги.

Она подняла на меня очи. В них не было страха. Только узнавание.

– Она тоже любила, – произнесла Арабелла. – Того, кого любить запретно. Металась между благопристойным бытием и той, иной участью, что подстерегала в тумане. Она совершила выбор. Совершу и я.

– Ты не ведаешь её выбора, – отрезала я. Голос мой сделался жёстким, сухим; так я увещевала её в детстве, когда она алкала недозволенного. – Она осталась. Покорилась воле твоего отца. Произвела тебя на свет. И угасла в этом доме, в этой самой постели, в окружении стен, кои ненавидела, и воздуха, коим захлёбывалась. Она предпочла правильную жизнь. И приняла смерть. Быть может, не от своего выбора она скончалась, но и не от того, к чему стремилась душа. Она умерла здесь, подле нас, а не в объятиях того, кто ждал её на топах.

– Она не успела, – прошептала она. – Не успела решиться. Или решилась, но не совладала с собой. Или совладала, но не пожелала... Не ведаю. Но мне ведомо её чувство.

Листок исчез в недрах её корсажа, прильнув к самому сердцу. Там письму суждено было лежать клятвой, обетом и свидетельством: она не одинока.

– Облаци меня, – произнесла она. – Уильям поспешает. Я должна предстать готовой.

Я приняла корсет. Тяжёлый, с костяными пластинами китового уса, с тугими, безжалостными шнурами. Встала за её спиной. Арабелла вцепилась в край туалетного столика; персты её побелели, костяшки проступили острыми углами. Я начала тянуть.

Лента скользила – узел за узлом, ряд за рядом. Дыхание её сделалось грузным, прерывистым, точно каждый вдох давался с боем; точно кости стесняли не ребра, а самую душу и ту дикую силу, что пробудилась в ней вчера и ныне рвалась вовне. Я тянула, и в сем ритме чудилось иное – будто я не наряжала невесту к визиту жениха, а затягивала петлю на шее осуждённой.

– Ещё, – донеслось глухо, чуждо. – Затяни туже.

Я повиновалась. Ещё. И еще. Покуда хрип не вырвался из её груди, покуда ногти не впились в дерево столика, оставляя глубокие борозды. Она застыла прямой, как стрела, уподобляясь изваянию в соборе – мученице, принявшей смерть, но не преклонившей колен.

Мы отражались в зеркале: она впереди, я – за её плечом. В её кулаке, сокрытом складками сорочки, был зажат листок. Правда. Та самая правда, кою я хранила в недрах памяти двадцать лет и кою она обрела сама, ибо кровь взыскует крови.

В дверь ударили. Коротко, сухо. Я вздрогнула, лента скользнула меж пальцев, и корсет, стянутый до предела, сжался ещё яростнее. Арабелла вдохнула, точно от удара сталью.

– Уильям в холле, – раздался голос Ричарда из-за преграды. Тон был ровен, безучастен – так глаголют о погоде или о вещах, лишённых веса. – Он ожидает тебя. Не дразни его терпение.

Арабелла встретила со мной взглядом в зеркальной глубине. В очах её полыхал вчерашний огонь. И в то же время – хлад. Ледяной, безжалостный хлад. Она была готова сойти вниз, к Уильяму, к его розам, к его пресным глаголам и безупречной любви. Готова исполнить свою роль. Но я ведала: дух её не здесь.

– Я готова, -произнесла она.

Извлекла из шкатулки белоснежные перчатки, натянула их на ладони – перст к персту. Прошествовала к вазе с утренним подношением Уильяма. Розы – тугие, грузные, срезанные в оранжереях Сендфорд-Мэнора на самом рассвете – источали столь приторный дух, что разум мутился. Арабелла избрала одну, поднесла к лицу. Я зрела, как вздрогнули её ноздри, вбирая сей «стерильный» аромат. Цветок вернулся в хрусталь, и тут взор мой споткнулся: на её пальце сияло кольцо. Тонкое золото с малым камнем, присланное Уильямом месяц назад в знак обета. До сего часа она пренебрегала его ношением.

– Агнес, -произнесла она, не отнимая руки от дверной рукояти. – Ты последуешь за мной? Будь там, в холле, когда я спущусь.

Я лишь молча склонила голову. Створка отворилась, и тяжёлый шёлк цвета хвои зашеле-стел по косяку. Высокий ворот платья скрывал её шею до самого подбородка, превращая Арабеллу в подобие строгой статуи. Она направилась к лестнице. Стан оставался прямым, шаги -размеренными, но в каждом движении угадывалось то напряжение, с каким ступают по тонкому лезвию стали.

Я прильнула к окну. Внизу, у парадного входа, замер экипаж Хоторна. Чёрный лак сиял зеркальным блеском, слепя глаза даже в это туманное утро. Скакуны били копытами в мокрый гравий, и вся эта роскошь с гербами на дверцах казалась чужеродным телом здесь, во дворе, пропитанном дёгтем и сырой землёй. У коновязи застыл Дамиан. Он сжимал узду гнедого и, не мигая, взирал на крыльцо. Его не занимал ни блеск кареты, ни суета слуг. Он ждал только её появления.

Уильям покинул недра экипажа. Светло-серый сюртук, трость, шляпа, снятая в безупречном поклоне. В руках он сжимал подношение -охапку роз, столь бледных, что они мнились призраками в мареве рассвета. Казалось, сладость этих цветов проникает сквозь преграду стекла.

Внизу грохнула створка. Голос Ричарда наполнил холл уверенной силой хозяина. Ему отозвался Уильям – его речь звенела тем бездумным счастьем, какое бывает лишь у людей, не знающих о близости краха.

Я покинула пост у окна и спустилась в холл. Арабелла застыла у камина подле Уильяма. Он изливал речи о дорожной скуке и о своём нетерпении поскорее узреть её лик. Она внимала, склоняла голову и одаривала его той самой заученной улыбкой, за которой не было ничего, кроме холода. Ричард замер в дверях гостиной; на лице его читалось довольство человека, мнящего, что порядок восстановлен, а дочь снова обратилась в ту послушную тень, какой ей надлежало быть.

Взор мой приковало золото. На левой руке – перстень, надетый нынче впервые. В правой -охапка белых роз. Я смотрела на эти цветы и помышляла о письме под костяным панцирем корсета. Там, у самого сердца, почил тайна. **«Я там, на болоте, в тумане, с ним».** Свой выбор Арабелла совершила. И я ведала: сего не изменить. Настанет час, и она последует туда – в трясину, к нему. И никакое венчальное злато её не удержит.

Глава 7 Уроки послушания

Обед накрывали в малой столовой, хотя гостей прибыло лишь трое. Ричард велел подать фамильное серебро – то самое, что извлекали по Рождеству или ради тех, чей голос решал участь Грейвуд-Холла. Я носила блюда из поварни, расставляла фарфор на накрахмаленном льне, и каждый звон посуды отдавался в моих ушах ударом молота.

Тяжёлое серебро ложилось в ладони мёртвым, скользким грузом; оно будто само избегало прикосновений, ведая, что ему не место за этим столом. Я выверяла строй ножей и вилок, покуда сверху, из покоев Арабеллы, доносился её мерный шаг. Так мечется в тесной клетке зверь, почуявший, что засовы крепки, а воли нет.

Уильям явился в полдень. Гул его кареты и хлопок дверцы наполнили двор, а следом в холл ворвался его голос – молодой, звонкий, исполненный власти. Он рассуждал о мареве и дорожной скуке, о том, как изнурены кони, и о своём нетерпении поскорее узреть невесту. Его речь была чистой, точно хрусталь, но мне хотелось разбить этот тон, дабы из-под него вырвался хоть один *живой* звук. В его голосе не было ни тени сомнения, ни той болезненной пульсации, что делает человека человеком. Он был гладким, как полированный борт его экипажа: он отражал мир, но не впускал его внутрь.

– Арабелла, должно быть, ещё облачается к нашей встрече, – произнёс Уильям с той снисходительной теплотой, с какой глаголют о детях, совершивших нечто милое и предсказуемое. – Я неизменно твержу: женщина вправе на тайну, особенно в утренние часы. В Лондоне дамы тратят на сборы вечность. Матушка, бывало, до самого обеда не покидала будуара, а после являлась столь блистательной, что гостиная замирала в безмолвии. Уверен, Арабелла не отступит от сего примера. В ней чувствуется порода, кою не стяжать воспитанием – она врождённая. Помню, в мой первый приезд с отцом – ей тогда минуло шестнадцать? – она застыла у окна с книгой и даже не обернулась на наш вход. Родители тогда сомневались: *«Уильям, сия дева слишком горда для тебя»*. Но я возразил им: *«Гордость – вот что надобно нашей фамилии. В Сендфорд-Мэноре в избытке покладистости и жажды угодить. Мне же надобна та, кто взирает на мир с высоты, а не ищет одобрения»*. И ныне я зрю свою правоту. Она не просит милости. Она ждёт, покуда мир подстроится под её прихоть. Подобные женщины редки, точно белые розы в наших широтах.

Он вещал, и глаголы его ложились мерно, точно обточенная морем галька. В них не обреталось ни шероховатости, ни тех живых неровностей, коими отмечена подлинная речь. Я взирала на него, помышляя, сколь пророчески он заблуждается: Арабелла и впрямь ожидает, покуда мир склонится пред ней. Но чертоги, коих она взыскует, не имеют сродства с его планами. Ей не надобен ни Лондон, ни блеск балов, ни бремя хозяйки Сендфорд – Мэнора. Она томится по тому, кто в сей миг в конюшне правит сбрую и, верно, так же впивается взором в её окна.

– Она снизойдёт, – обронил Ричард с той непоколебимостью, с какой глаголют лишь те, чей указ свят. – Дочь ведаёт о вашем прибытии. Она не продлит вашего ожидания более положенного.

Я взошла наверх. Арабелла замерла у окна спиной к дверям. Она уже облачилась в то самое платье цвета хвои; высокий воротник вздымался столь грозно, что мнился не тканью, а стеной темницы. Власы были укрощены в тяжёлый узел, лишая воли всякую прядь. Шёлк теснил её плоть до самого подбородка, перехватывая дыхание. Она стояла прямо, уподобляясь натянутой струне; зрела напряжение её плеч и побелевшие персты, впившиеся в подоконник.

– Он томится внизу, – произнесла я.

– Ведаю, -отозвалась она. – Я слышала его речи. О Лондоне, о матушке, о моей редкости, уподобленной белой розе. Он вещает так, будто я не плоть и кровь, а ценный изыск, присмотренный на торгах. Он судит обо мне, покуда я здесь, не зная: я слышу, как он мерит мою цену, не спросив, желаю ли я быть проданной.

– Он алчет лишь блага для тебя, – изрекла я, и слова сии прозвучали столь пусто, что я сама не обрела в них веры.

– Блага для кого? – Она оборотилась, и я созерцала её лик. Бледность, лихорадочный румянец на скулах и очи, взиравшие сквозь меня в иную даль. – Для родителя? Для Уильяма? Для сего чертога, коий стоит на болоте и взыскует наследника, дабы не рухнуть ещё столетие? А для меня? Обретается ли в сем „**благ**е“ хоть малая доля для моей души, Агнес?

Я безмолствовала. Что я могла изречь? Стать ли убеждать её, что Уильям дарует ей кров, наследников и то почтение, коим мир венчает добродетель? Я ведала: не того она алчет. Я прозрела это в миг, когда застала её в конюшне пред Дамианом, когда длани её потянулись к нему сами, поправ волю. Я знала истину, но долг велел мне ткать паутину лжи, коей от неё ждали.

– Он достойный человек, – обронила я. – Он окружит тебя заботой.

– Заботой, – эхом отозвалась она, и слово сие прозвучало проклятием. – Ведаешь ли ты, что начертала матушка в том письме? *«Здесь нет воздуха. Нет жизни. Лишь стены. И ты, Ричард, взираешь на меня, не видя»*. Она могла бы вывести эти строки нынче. Сменив лишь имена. Вместо Ричарда – Уильям. Вместо одного плена – иной. Но суть недвижна. Я пребуду в его чертогах, внимая речам о Лондоне, рожая ему детей и угасая от удушья. А он станет взирать на меня, оставаясь слепым. Как отец. Как всякий в этом мире.

– Арабелла... – начала было я, но она пресекла мою речь.

– Агнес, ответь мне по совести. Если бы ты могла воротиться в свою весну, если бы пред тобой возник выбор меж благопристойным житием и тем, от коего сердце бьётся столь неистово, что грозит разорвать грудь, – что бы ты предпочла?

Я созерцала её, и пелена прошлого застлала взор. Мне минуло семнадцать, я застыла у колодца в отчем доме, а мимо шествовал юноша, коему суждено было сгинуть в городе навсегда. Он молвил: «Ты прекрасна, Агнес. Я бы взял тебя в жены». Я лишь рассмеялась: «Ты и имени - то моего не ведаешь». А он отрезал: «Агнес. Ведаю. Я всё о тебе знаю». И улыбнулся. А после – скрылся за горизонтом. Я осталась. Год спустя опочил отец, ещё через два – мать, и я нанялась в Грейвуд - Холл, ибо иного пути не обреталось. Я избрала правильную жизнь. И ныне я стояла здесь – старая, одинокая, с руками, помнившими каждую чашу и салфетку в сем доме, но не хранившими тепла ладоней, что могли бы стать моими.

– Я бы выбрала то, от чего кровь закипает в жилах, -произнесла я. – Но я не вправе подстрекать тебя к тому же. Ибо я не ведаю, какова цена того выбора. Быть может, я обрела бы счастье. А быть может, ныне взирала бы из иного окна на жизнь, кою отринула, сокрушаясь о потерянном. Мы вечно алкаем утраченного. И никто не ценит обретённое.

Она долго томила меня взором. После приблизилась и сжала мою кисть. Персты её были холодны, точно лёд, и я осязала их мелкую, непрестанную дрожь.

– Благодарю, -обронила она. – За истину. Пусть и не ту, кою я алкала услышать.

Она выпустила мою ладонь, выправила ворот и оправила складки юбки. Замерла пред зеркалом. Я стояла за её плечом, созерцая лик – чужой, отчуждённый. Так в детстве она взирала на портреты пращуров: с любопытством, но без тени узнавания. Она не находила себя в сем шёлке, в костяных тисках корсета и в безупречно уложенных власах.

– Я готова, – произнесла она. Голос её был пуст, точно заброшенный дом, из коего вынесли всё живое.

Она проследовала к дверям. В столовой воцарился порядок. Скатерть – белая, крахмаль-ная – хрустела, уподобляясь ледяной корке на лужах. Серебро, начищенное до зеркального

блеска, отражало пламя свеч, лики и тени. Фарфор с родовым гербом – синим чертополохом на снежном поле – венчал каждый прибор.

Я взирала на сей чертополох и помышляла, что он пребудет на её венчальных дарах, на белёе её брачного ложа и на могильном камне, ежели она изберёт **«правильную жизнь»**.

Уильям воцарился по правую руку от Ричарда. Он уже сменил дорожное платье на домашний синий сюртук тонкого сукна с серебряным шитьём пуговиц. Волосы его были гладко зачёсаны, лик – свеж и чист, без тени дорожной усталости. Он сидел по-военному прямо, устремив взор на дверь в ожидании главного трофея своей судьбы. В высокой хрустальной вазе высились его розы – плотные, тяжёлые, срезанные на рассвете в оранжереях Сендфорд-Мэнора. Дух их был столь яростен, что затмевал аромат блюд. Сладкий, густой, приторный – сей запах заполнил всё пространство, запутался в складках льна, осел на серебре. Чудилось, будь сей аромат зримым, он предстал бы белой липкой паутиной, коя опутывает живое, лишая воли к движению.

Ричард восседал во главе стола. По всему было видно, сколь он доволен: порядок, выстраиваемый годами, торжествовал. Дочь обретала достойного мужа, имя наследовалось, стены стояли крепко. Он взирал на Уильяма, видя в нем не зятя, а опору для собственной воли.

– Она снизойдёт с минуты на минуту, – изрёк Ричард. – Промедление – извечная привилегия женщин.

Уильям рассмеялся. Смех его был лёгок и приятен – так звучат голоса людей, не ведавших истинного ожидания, изнурительной надежды или подлинного страха.

– Арабелла вольна медлить сколь угодно долго, – произнёс он. – Я приму и вечность в ожидании её лика. В Лондоне я зрел множество прелестных дев, готовых на всё ради имени миссис Хоторн. Но ни одна не выдержала бы сравнения с ней. Дело не в красе – ею наделены многие. В ней почиет некая внутренняя тишина; так замирают лишь те, кто не принадлежит сему миру всецело. Я заприметил сие ещё в нашу первую встречу. Она застыла у окна, и мне почудилось, будто взор её устремлён не в сад, а в некую даль за пределами дома и самой жизни. Я спросил тогда отца: *«О чем её думы?»*. Он же отрезал: *«О том, что нам не дано постичь»*. И я уразумел: желаю стать тем, кто разделит с ней сие знание.

Створка отворилась. Арабелла вошла.

Я затаилась в тени буфета, следя за её шествием к столу. Стан её был прям, а лик хранил ту безупречную, пустую улыбку, коей я обучила её для приёма гостей. Она приблизилась, Уильям порывисто встал и отодвинул кресло, содействуя ей. Его персты задержались на резной спинке долее необходимого, и я уловила, как Арабелла едва заметно отстранилась, не желая и мимолётного касания к своему плечу.

– Арабелла, – молвил Уильям, и в голосе его проступила теплота, способная сокрушить лёд. – Вы нынче дивно хороши. Сей наряд... он подчёркивает изумруд ваших глаз. Я неизменно твердил, что зелёный – ваш цвет. Вы уподобляетесь царевне из преданий, кою заточили в башню в ожидании избавителя.

– Я не взыскую избавления, – отозвалась Арабелла. В её речи прорезалась та самая нота, что звучала в детстве: когда взрослые принимали её слова за дерзость, не чуя в них горькой правды. – Я просто пребываю здесь.

Уильям вновь рассмеялся, не постигнув смысла.

– Вот сие я и ценю в вас, – изрёк он. – Прямоту и честность. В Лондоне глаголют одно, помышляют об ином, а вершат третье. Вы же – точно чистое стекло. Вас видно насквозь.

Я созерцала Арабеллу и зрела, как персты её, сокрытые под скатертью, судорожно сжались. Чистое стекло. Насквозь. О, если бы он ведал, что в недрах сего стекла пролегла трещина, идущая от самого основания и грозящая вмиг раздробить её естество. Если бы он постиг, к кому устремлены её помыслы ныне, покуда он расточает глаголы о Лондоне и прелести роз. Если бы он знал: длани её хранят память не о тонкой лайке его перчаток, а о духе дёгтя и сена.

И в речах о венчании она чувствует лишь удушье, ибо корсет, стянутый мною поутру, теснит ребра, не давая воли дыханию.

– Уильям вещал о вояже в Лондон после торжества, – обронил Ричард с тем нетерпением, что выдаёт желание поскорее уладить дела, не прибегая к оправданиям или защите. – Полагаю, сие благое намерение. Вам надобно явить себя свету. Мир должен уразуметь: род Грейвудов не угасает, у нас обретается будущее.

– У нас неизменно обретается будущее, отец, – отозвалась Арабелла. – Вопрос лишь в том, какой облик мы ему придадим.

Она изрекла сие вполголоса, почти шёпотом, но я уловила каждое слово. Ричард тоже внял им. На мгновение лик его обратился в тот самый, давний, когда он лишь начинал сознавать: его супруга взирает на болото, не видя его самого. Но он тут же отвёл очи, припал к бокалу и испил вина.

– Ты придашь ему должный облик, – отрезал он. – Я в том не сомневаюсь.

Арабелла хранила безмолвие. Она коснулась вилок блюда, поднесла к устам и вернула на место, не отведав ни крохи. Я следила, как она изучает снесь на фарфоре, ведая: она не сумеет проглотить и малого куска. Всякий раз, когда она склонялась к тарелке, костяной панцирь впивался в тело, напоминая о клетке. Яства были для неё не пищей, а камнями, кои надлежало проглотить ради приличия, дабы уверить всех, что она здесь, что она едина с ними.

– Поговаривают, у вас новый конюх, – обронил Уильям, отодвигая тарелку и притрагиваясь к бокалу. Тон его был небрежен, точно он вещал о вещи, лишённой веса. – Дамиан, верно? Откуда сей малый? Я наблюдал вчера его труды. Редкая порода. Таких не нанимают на тракте – с этим чутьем надобно родиться. В нем обретается сноровка, кою не стяжать ученьем. Он внемлет зверю прежде, нежели тот почует его приближение. Мой кучер, отдавший лошадям тридцать лет, признался: подобных он зрел лишь единожды в жизни.

Персты Арабеллы дрогнули. То было мимолётное, почти призрачное движение, коего не уловил бы никто, кроме меня. Но я видела. Зрела, как напряглись её плечи и как на миг пресеклось её дыхание. Имя Дамиана повисло в воздухе камнем, брошенным в застоялую воду; круги от него разошлись по самым тёмным углам столовой и недрам её души.

– Он явился к нам седмицу назад, – отозвался Ричард с равнодушием человека, вещающего о предмете обихода. – Искал службы. Старый Джон сдаёт, надобен помощник. Я принял его на иску. Трудится справно, кони покорны. Молчалив – а сие благое качество для челяди.

– Молчание – добродетель, – согласился Уильям. – Но я алчу рассмотреть его поближе. Сказывают, он искусно правит упряжью. Быть может, он совладеет с моим новым жеребцом? Животное строптивое, никого не подпускает. Я сменил двоих конюхов, но тщетно. Твой Дамиан, Ричард, кажется мне способным на сей подвиг. В нем проглядывает нечто... дикое. Жеребец почует в нем родственную душу.

– Возьмите его на время, ежели угодно, – бросил Ричард. – Я не чиню препятствий.

– Я желал бы узреть его нынче же, – продолжал Уильям. – Пусть подаст десерт. Так я оценю его выправку. Слуга, владеющий собой, ценится выше того, кто лишь чистит сбрую. В Лондоне я привык к прислуге незримой, но присутствующей. Сие – тонкое искусство: быть подле, но не стеснять. Быть полезным, не навязываясь. Хочу убедиться, владеет ли он этим даром.

Я судорожно сжала края подноса. В столовой сделалось нечем дышать. Приказ позвать Дамиана сюда, к накрахмаленным салфеткам и серебру, прозвучал как смертный приговор нашему хрупкому миру.

Ричард склонил голову. Взор его на миг метнулся к Арабелле, поверяя её покорность. Она сидела, не поднимая ресниц; длани её были сокрыты хворью скатерти, а лик хранил ту застывшую маску, кою она надела ещё на лестнице.

– Да будет так, -изрёк Ричард. – Агнес, распорядись о десерте. И пусть сей... Дамиан... прислужит гостю.

Я покинула столовую. Стопы мои тяготели к полу, персты содрогались. Я осязала ту самую соломинку в складках фартука – ныне она колола кожу острее терновника. На кухне Дамиан уже замер у порога с подносом в руках. Он стоял невозмутимо, точно его имя не трепали за столом, точно его не звали на показ, уподобляя породистому скакуну пред торгами.

– Тебя востребуют, – проговорила я. – Хотят, дабы ты подал десерт. Уильям алчет лицезреть тебя.

Дамиан едва заметно кивнул. Он принял поднос, и я уловила, как побелели его костяшки, как вздулись жилы на руках от немого напряжения.

– Он вещал что-то ещё? – спросил Дамиан. – Обо мне?

– Он поминал твою дикость. И то, что его жеребец, верно, почует в тебе родственную душу.

Дамиан усмехнулся. В сей гримасе не обреталось и тени веселья.

– Родственную душу, – эхом отозвался он. – Хоторн и не смыслит, сколь он близок к истине.

Он направился в столовую. Я последовала тенью за его хребтом, дабы замереть у прито-локи, дабы видеть и ведать всё до конца.

Он переступил порог, и тишина в столовой переменялась. Исчезла та тягучая, свинцовая немота, что царила прежде; её сменило оцепенение, коим встречают явление чего-то дикого и необузданного. Дамиан шествовал мерно, неся поднос; шаги его были тяжелы и полны той уверенности, что не приличествует слуге у господского стола. Он замер подле плеча Уильяма, и я зрела, как Хоторн впился в него взором – жадным, оценивающим, каким озирают дорогую вещь пред покупкой.

– Водрузите здесь, – обронил Уильям, указуя на место пред собой. – Алчу отведать плоды трудов Агнес. Сказывают, в выпечке ей нет равных.

Дамиан опустил поднос. Неспешно, безупречно, без единого лишнего жеста. Лик его оставался пустым, точно в ту полночь, когда он ожидал на пороге дозволения войти. Он не удостоил взором ни Уильяма, ни Ричарда. Весь его мир сузился до краёв фарфора и собственных ладоней. Но я ведала: он осязает её присутствие. Знала – ему ведомо, как она дышит и как её персты терзают салфетку под покровом скатерти.

– Поговаривают, вы искусно правите конями, – произнес Уильям, принимая десертную вилку. – Сие правда?

– Я владею ремеслом, – отозвался Дамиан.

– Мой новый скакун строптив и не даётся в руки. Полагаете, вы совладаете с ним?

– Я вправе дерзнуть.

– Вы неизменно столь лаконичны в речах?

– Я обучен безмолвию.

Я зрела, как содрогнулась Арабелла. То было мимолётное, судорожное движение, точно от удара хлыстом. Она не поднимала ресниц, созерцая тарелку, но я ведала – она ловит каждый звук его голоса, каждое его дыхание. Он пребывал в трёх шагах, а она не смела ни обернуться, ни коснуться его даже взглядом.

Уильям вкусил десерт и одобрительно кивнул.

– Достойно, -изрёк он. – Вручите Агнес мою похвалу. И ещё, – добавил он, когда Дамиан уже оборотился к выходу. – Я условился с мистером Грейвудом. Вы последуете за мной на седмицу. Пособите с жеребцом. Посмотрим, какова ваша истинная цена.

Дамиан замер. На краткое, пугающее мгновение его невозмутимость дала трещину. Я зрела, как персты, сжимавшие поднос, побелели от напряжения. Он не удостоил Уильяма взглядом – весь его мир сузился до Арабеллы. Она вскинула взор, и в сей ослепительной

вспышке столкнулось всё: и тайная близость в конюшне, и несбывшиеся надежды, и роковая предопределённость их путей.

– Хорошо, – обронил Дамиан. – Я последую за вами.

Он покинул столовую. Стук закрывшейся двери вернул в комнату тишину, но в ней более не обреталось покоя – лишь гул надлома. Арабелла сидела, понутив голову; я видела, как под покровом скатерти судорожно дрожат её ладони. Она не искала встречного взгляда ни с родителем, ни с Хоторном.

– Достойный слуга, – заметил Уильям, отодвигая фарфор. – Пожалуй, седмицы в Сендфорд – Мэноре хватит, дабы оценить его нрав. Коли он совладеет с жеребцом, я оставлю его в своих владениях. Мне надобны подобные люди.

Ричард склонил голову в знак согласия. Он избегал смотреть на дочь, сосредоточив всё внимание на госте – на этом безупречном, гладком, выгодном человеке, коий уже распоряжался будущим Грейвуд-Холла.

– Да будет так, – изрёк Ричард. – Я отдам распоряжения.

Арабелла подняла очи. Вперила взор в отца, в Уильяма, в оплывающие свечи – во всё то, что именовалось её правильным бытием. На губах её проступила та самая улыбка, кою она надевала лишь в часы крайнего изнурения.

– Повинуюсь вашей воле, отец, – произнесла она.

В её голосе воцарилась пустота. В нем не слышалось ни протеста, ни согласия – лишь выжженная земля.

Я покинула столовую и прошла в поварню. Дамиан застыл у окна, взирая во тьму, лик его был пуст. Он не обернулся на мой шаг.

– Она сочетается с ним браком, – произнесла я. – Тебе сие ведомо.

– Ведомо, – отозвался он, не меняя позы. – Она подчинится. Ибо так велят те, кто возомнил, что вправе решать за неё. Я знаю.

– И на что ты уповаешь?

Он безмолвствовал долго. Я созерцала его мощные плечи и руки, впившиеся в подоконник. Наконец он глухо молвил:

– Я стану исполнять свой долг. Буду трудиться за плату. Буду хранить молчание. Буду ждать.

– Чего же?

– Не знаю, – бросил он. – Быть может, того, чему суждено свершиться. Или того, что минует нас. Я просто пребуду в ожидании.

– Я обучен ожиданию, – произнёс он. – И я владею безмолвием.

Дамиан принял пустой поднос и покинул столовую. Я осталась в поварне одна. Дух роз, принесённый Уильямом, был столь яростен, что проникал и сюда, смешиваясь с горьким запахом дёгтя, оставшимся после чужака. Я прильнула к окну. В столовой теплились свечи, отбрасывая на занавеси ломаные тени: грузный силуэт Ричарда, прямую, безупречную линию плеч Уильяма и зыбкое очертание Арабеллы – точно призрака, готового истаять в любой миг.

Я созерцала сии тени, помышляя об их слепоте. Они не ведали, что она более не принадлежит сему кругу. Не знали, что всякое слово Хоторна о грядущем падает в бездну. Не чуяли, что за её улыбкой скрыт лихорадочный счёт секунд до мгновения, когда она вбежит в свои покои и затворит засовы, дабы наконец извергнуть из груди застрявший вздох.

Лорд Грейвуд величал его **«находкой»**, не почуяв, что сие обретение уже сокрушило устои его дома. Он не зрил, что дочь, хранящая благопристойный вид за столом, более не часть его воли. Уильям вещал о венчании, но она внимала не ему – в её ушах набатом звучало то краткое **«не надо»**, брошенное в конюшне. Сей запрет пребудет в ней вечно, сколько бы лет ни минуло и сколько бы миль ни пролегло меж ними.

Я отошла от стекла и вернулась в столовую, дабы собрать остатки трапезы. Арабелла уже скрылась – я слышала её шаги на лестнице, поспешные, почти бегущие.

Ричард и Уильям приложились к бокалам, рассуждая о выгоде и союзе, довольные тем, как славно устроились дела. Я складывала серебро, и звон металла отдавался в моем мозгу ударом молота. На льне скатерти, подле места Арабеллы, чернело малое пятно – след вина, пролитого в миг, когда Дамиан переступил порог. Я взирала на сию отметину, зная: она не сойдёт. Она пребудет здесь вечным знаком и предостережением о том, что порядок, воздвигнутый на лжи, рухнет в час, когда его сочтут незыблемым.

Глава 8 Тяга

Ночь опустилась на Грейвуд-Холл тяжело, точно крышка гроба. Уильям отбыл ещё засветло, но подношение его осталось. Белые, налитые ядом сладости, розы замерли в высокой хрустальной вазе, кою я водрузила на туалетный столик без спроса. Их дух был столь неистовым, что просачивался в коридоры и под запертые двери, достигая моей каморки, где я застыла на краю постели, внемля тишине. Я ведала: она не почитет. Она простерта в темноте, считая удары сердца, что гулко отдаются в висках. Точно гвозди вбивают в дерево её будущего.

Я слышала её мерные шаги – от угла к углу. Скрипнуло ложе, когда она поднялась. После – шелест к окну. И долгое, вязкое безмолвие, разрываемое лишь завыванием ветра в дымоходе да редкими щелчками остывающих половиц. Я знала каждую жалобу сего дома, каждый его вздох. Сейчас она замерла у стекла, всматриваясь в марево; она алкала того, чего не сыскать под этим сводом.

Она ждала.

Розы источали дух увядания. Я осязала сей запах даже сквозь каменную кладку – приторный, душный, уподобляющийся эссенции из лавки бальзамировщика, где весна мешается со смертью. Срезанные на рассвете, в тепле покоев они уже начали клонить головы к хрусталу, точно казнённые, выставленные на позор. Уильям оставил их как напоминание о своём праве, о своей власти, о грядущей жизни в Сендфорд – Мэноре. Но Арабелла зрела в них лишь тлен. Прообраз той смерти, что поджидает её в его доме, под сенью его безупречных и пустых речей.

Ветер донёс из недр болота хлад и сырость. Створка окна отозвалась резким скрипом, прорезавшим ночь подобно выстрелу. Воздух ворвался в комнату, неся с собой запах, памятный мне с сиротства. Тот самый дух мокрой земли и гниющих корней, тяжёлая влага, что восстаёт из трясины и ложится печатью на всё живое. Но ныне в нем пульсировало иное – горькое, животное, властное. Деготь. Конский пот. Дубленая кожа. **Он.**

В комнате воцарился слух. Арабелла застыла у окна; дыхание её – рваное, порывистое – выдавало страх упустить миг, когда тишина родит звук. Ветер опал, и в безмолвии пронёсся выдох – не стон, а подобие крика, задушенного в зародыше.

Дверь каморки приоткрылась, впуская полоску света в коридор. Створка соседних покоев была сомкнута, но видение вставало насквозь: босая, в одной сорочке, с распутной волной волос, она впилась взором в марево. И он был там. Он замер внизу, подле конюшни, не сводя глаз с окна. Без зова, без жеста, не чиня ни единого движения, коим мог бы выдать себя дозорному. Он просто ждал.

Снова наступила темнота. Ладони стиснули колени столь неистово, что ногти вошли в плоть. Шаг навстречу был бы ложью. Бесполезно требовать: *«Запри окно, отринь видения, предайся сну»*. Бессмысленно предостерегать: *«Сей путь ведёт в бездну»*. Ибо ей ведомо всё: и то, что можно было бы глаголать, и то, что следовало утаить. Известно: мать её замирала у сего же стекла, взирая на ту же трясину. И мать ушла. Не в туман и не к тому, кто алкал её, – а в сырую землю, оставив лишь свиток в недрах бюро да зов в крови.

Дом дышал в темноте. Стонали балки под грузом ночи; ветер, утомившись, шелестел на наречии, внятном лишь стенам. В этом шёпоте бился извечный ритм – тот самый, коим Арабелла мерила комнату, коим сердце её отстукивало такт с чем-то, затаившимся в тумане. Веки сомкнулись, чтобы не видеть отсвета свечи, но огонь горел, а он там, внизу, не отрывал от него взора. И ничего уже нельзя было изменить.

Пальцы, сжимавшие подоконник, онемели. Дыхание оставляло на стекле влажное пятно – оно таяло и возникало вновь, точно мерный пульс или счёт уходящим минутам. В туманной глубине дрожало отражение: бледное, размытое, чужое. В белой сорочке, с распушенной вол-

ной волос, Арабелла казалась себе призраком, застрявшим меж мирами. Одним – где Уильям дарит розы и сулит Лондон, и иным – где воздух густ от дёгтя, а внизу, у конюшни, недвижно замер **чужак**.

Его не было видно. Марево стояло слишком плотно, ночь чернела беззвездно, а расстояние гасило очертания фигуры, которая – Арабелла знала это – была там. Присутствие его ощущалось кожей, как жар остывающей печи, когда пламя уже незримо, но воздух всё ещё дрожит. Это чувство пульсировало в груди, в горле, в самых кончиках пальцев, хранивших память его взгляда.

Шаги по комнате звучали тише шелеста, но в ночном безмолвии каждый скрип половицы гремел выстрелом. Возле туалетного столика Арабелла замерла. Рука потянулась к вазе, извлекая одну розу. Запах – приторный, почти тошнотворный – пах Уильямом. Стебель хрустнул в кулаке. Шипы вошли в кожу, и боль отозвалась остро. Глядя на капли крови, проступившие на белизне ладони, она постигла истину: сей укол – единственное настоящее чувство с того часа, как он переступил порог Грейвуда.

Роза рухнула на пол. Следом – другая, третья. Цветы падали на ковёр, осыпаясь лепестками, оставляя на ткани светлые, призрачные пятна. Арабелла терзала букет с яростью, возмущавшей с каждым ударом сердца. Она крушила это приторное обещание, которое не просила и не желала принимать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.